Miakotin, V. A.

A. S. Pushkin i Dekabristy

В. А. МЯКОТИН

А. С. ПУШКИН
И
ДЕКАБРИСТЫ

ПРАГА — БЕРЛИН
1923

ВАТАГА
и
ПЛАМЯ

В. А. МЯКОТИН

А. С. ПУШКИН
И
ДЕКАБРИСТЫ

БЕРЛИН — 1923

Типография Куммер и Ко.
Berlin C. 2, Neue Promenade 6

Настоящая работа не в первый раз появляется в печати. Написанная более двадцати лет тому назад, она однако впервые выходит в отдельном издании. И я позволяю себе думать, что она еще не утратила своего значения. Ее цель—представить читателю очерк тех отношений, которые связывали Пушкина с одним из наиболее заметных и глубоких течений в современной ему русской общественной жизни. И мне кажется, что такой очерк, даже не содержа в себе ничего существенно нового, а лишь сводя разбросанные сведения, может и сейчас иметь известное значение, как попытка ближе подойти к определению действительного характера той связи, какая существовала между поэтом и обществом его времени.

Первые связи с обществом, первое знакомство с волновавшими его идеями были заключены Пушкиным еще на школьной скамье. Уже поступая в лицей, двенадцати-летним мальчиком, он выдавался среди своих товарищей не только способностями, но и знаниями. «Все мы видели — писал впоследствии Пущин, припоминая обстоятельства своего поступления в лицей, — что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы со скороспелками, которые по каким-либо особенным обстоятельствам и раньше и легче находят случай чему-нибудь выучиться» [1]. Между тем школьные годы Пушкина проходили в такой обстановке, которая могла бы способствовать быстрому росту и не столь выдающегося ума. Нашествие Наполеона, гром войны 12-го года с ее поражениями и победами, позднее поход русских войск за границу, закончившийся взятием Пари-

[1]) Л. Майков: Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПБ. 1899, с. 45.

жа — все эти события, из ряду вон выходившие, влияли на воображение, развивали ум и чувство современников, даже тех, которые еще сидели на скамьях средней школы. Лицей в этом отношении находился, быть может, в особенно благоприятных условиях. Среди учебных заведений столицы он занимал особое место, не всегда даже понятное для окружающих. Пущин в своих записках сохранил забавный рассказ о том, как определял это место лицея гр. Милорадович. «В 1817 г., — рассказывает он, — когда после выпуска мы шестеро, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса, под'езжает к нам гр. Милорадович, тогдашний корпусный командир, с вопросом: что мы за люди, и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружавшим его: «Да, это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это . . . лицей». Поклонился, повернул лошадь и ускакал» [1]). На первых порах своего существования лицей смущал и ставил втупик не одного гр. Милорадовича, хотя не все, может статься, умели так победоносно выйти из затруднения, как этот храбрый генерал. Соединяя в себе среднюю и высшую школу, порядки закрытого учебного заведения с широкой свободой воспитанников внутри лицейских стен и с отсутствием телесных наказаний, лицей отличался от других учеб-

---

[1]) Там-же, 43—4.

ных заведений и своей разносторонней и по тому времени весьма целесообразной программой. Если эта программа и не осуществлялась целиком, если преподаватели, среди которых были и видные ученые, как Куницын и Галич, подчас не очень тщательно относились к своим обязанностям, то, с другой стороны, они не проявляли чрезмерного педантизма в своих отношениях к ученикам и, умея порой глядеть сквозь пальцы на молодые проказы, умели и сближаться с юными «студентами», пробуждая в них стремление к развитию. Такое сближение началось с событий 12-го года. «Эти события сильно отразились на нашем детстве, — вспоминал впоследствии Пущин. — Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея; мы всегда были тут, при их появлении выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвою, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита». Проводами гвардии не ограничилось участие лицеистов к войне. «Когда начались военные действия, — продолжает тот-же свидетель, — всякое воскресенье кто нибудь из родных привозил реляции; Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгом при малей-

шем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное»[1]).

При таких-то условиях началась школьная жизнь Пушкина. В связи с ними «неволя мирная», «шесть лет соединенья» сделали свое дело, и лицеисты первого выпуска тесно сплотились между собою. Ближе других к Пушкину стояли «ветреный мудрец» — Пущин, Дельвиг и нескладный, неуклюжий, но глубоко чувствовавший поэзию и способный к благородным увлечениям идеалист Кюхельбекер, «брат Кюхля», как любил называть его Пушкин. Не порвалось с течением времени и завязавшееся сближение с профессорами, по крайней мере с лучшими из них. Галич заслужил благодарную память первых лицеистов едва-ли одним лишь участием в их пирушках, тем более, что самые эти пирушки принимали широкие размеры, повидимому, исключительно в поэтическом воображении Пушкина. Еще более важно было общение с Куницыным, этим видным ученым и убежденным либералом. Правда, по некоторым рассказам, его преподавание в лицее ограничивалось заучиванием со стороны лицеистов профессорских тетрадок, но, как бы то ни было, он сумел приобрести влияние на своих учеников. Спустя восемь лет по выходе из лицея, Пушкин не усумнился в теплых словах признать благотворность этого влияния: «он создал нас, он воспитал

---

[1]) Там-же, 53—4, 54.

наш пламень, — поставлен им краеугольный камень, — им чистая лампада вожжена». Вместе с тем, благодаря сравнительной свободе лицеистов, у них легко завязывались сношения и вне стен самого лицея, и для Пушкина они скоро приобрели более значения, чем дружба товарищей и влияние преподавателей. В то время, как рано сказавшийся талант быстро выдвинул его из ряда сверстников и дал ему возможность войти в качестве равного в круг поэтов и литераторов Арзамаса; соседство лицея с квартировавшим в Царском Селе лейб-гусарским полком ввело Пушкина и его товарищей в среду гвардейской молодежи.

Влияние на Пушкина этой среды нередко изображалось почти исключительно темными красками, равно как во влиянии Арзамаса подчеркивались по преимуществу — и едва-ли правильно — лишь светлые его стороны. Между тем нет сомнения, что военные кружки этой эпохи могли научить входившего в них юношу не одному лишь разгулу. Офицерское общество данной поры было богато особенностями, в таком размере не свойственными ему ни раньше, ни позже. Патриотический порыв двенадцатого года бросил в ряды войска не малое количество дворянской образованной молодежи и приподнял настроение тех, которые уже ранее стояли в этих рядах. Этот порыв не мог разрешиться одним шовинистическим увлечением громом отечественного оружия. Для этого обстоятельства были слишком сложны, сцена, на которой приходилось действовать, слиш-

ком громадна и полна неожиданностей. Перед глазами владельцев крепостных душ, владельцев, более или менее наивно уверенных в полном бессмыслии и равнодушии массы, в ее лице внезапно выступил на историческую арену народ, самостоятельно поднявшийся на защиту родины от нашествия врага, для возбуждения своего патриотизма не нуждавшийся ни в синодских увещаниях,[1] ни в статьях специально для этой цели выписанного из Германии публициста Арндта, ни в Ростопчинских афишках. Когда затем народная война поглотила силы Наполеона и, гордые своим подвигом, русские войска двинулись освобождать другие страны, в Европе, где реакция едва только начинала приподнимать свою голову под шум оружия союзников, «освободителям» пришлось пережить ряд очень сложных впечатлений. Жизнь учит скорее книг и теоретических размышлений. Неудивительно поэтому, что благодаря впечатлениям, полученным от непосредственного знакомства с европейской жизнью, идеи, еще недавно бывшие в России достоянием только единичных личностей и робко высказывавшиеся немногими мечтателями в литературе, были теперь усвоены

---

[1]) Как известно, во время предыдущей войны с Францией Синод разослал по церквам об'явление, в котором Наполеон назывался лже-Мессией, поклоняющимся языческим богам и стремящимся восстановить еврейский синедрион, — см. Шильдер, Имп. Александр I, его жизнь и царствование, СПБ. 1897, т. II, сс. 156 и 352—8. Весьма возможно, что это об'явление не осталось без влияния на отожествление в народе Наполеона с антихристом.

целыми кружками офицеров и вместе с последними возвратились в петербургские и московские казармы. На долю русских войск в Европе выпала крупная и блестящая роль и самый этот блеск невольно будил мысль и делал ее особенно чуткой к голосу совести. «Пребывание целый год в Германии и потом несколько месяцев в Париже не могло,—говорит один из офицеров этой поры,—не изменить воззрения хоть сколько нибудь мыслящей русской молодежи; при такой огромной обстановке каждый из нас сколько нибудь вырос». [1]) Участники мировых событий, русские люди за границей отвыкли от тесных рамок серой родной действительности и с трудом снова входили в них. Об этом у нас сохранились недвусмысленные свидетельства и таких лиц, которых мудрено в данном случае заподозрить в пристрастии к описываемым ими фактам. «Не только офицеры, — читаем мы в записках Греча, — но и нижние чины гвардии набрались заморского духа; они чувствовали и видели свое превосходство пред иностранными войсками, видели, что те войска, при меньшем образовании, пользуются большими льготами, большим уважением, имеют голос в обществе. Это не могло не возбудить вначале просто их соревнования и желания стать наравне с побежденными»[2]). Правильно передавая общий характер данного явления,

---

[1]) Записки И. Д. Якушкина, с. 3.

[2]) Н. И. Греч, Записки о моей жизни. СПБ. 1886, с. 325.

наблюдатель, слова которого мы привели, уменьшает, вероятно бессознательно, его значение. Дело было, конечно, не в одной противоположности между нравами армий. Контраст, поражавший воображение познакомившейся с заграничной жизнью молодежи, был более глубок; это был контраст европейской роли России с внутренним ее бытом, особенно хорошо уяснявшимся из сравнения с бытом только что освобожденной ею Европы, контраст великих сил, обнаруженных народом, с тем жалким положением, в котором он находился. Сознание этого контраста нарастало постепенно, но с особенною силой оно должно было проявиться при возврате армии на родину, когда ее вновь окружили забытые было условия. По возвращении в 14-м году из Франции, — рассказывает один из современников, — «первая гвардейская дивизия была высажена у Ораниенбаума и слушала благодарственный молебен, который служил обер-священник Державин. Во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление по возвращении в отечество»... За ним не замедлили последовать и другие: «В 14-м году, по словам того же лица, существование молодежи в Петербурге было томительно. В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решавшие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и

слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и отрицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед»[1]).

На первых порах однако все роковое значение этого скачка не было ясно даже людям, сделавшим его. Недостатки, оказавшиеся в русской действительности, казалось, требовали лишь выяснения и затем исправление их становилось уже вопросом недолгого времени. В гвардейских казармах Петербурга шли между офицерами оживленные беседы на эту тему. «В беседах наших обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторгой, повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще». От бесед, начатых в своей товарищеской среде, естественно было перейти к дальнейшей пропаганде выработанных взглядов, и эта пропаганда была поведена тем с большим жаром, что для большинства людей, повернувших на новый путь, косность общественной среды представлялась пока единственным препятствием к осуществлению их взглядов в жизни. Эта косность и в самом деле сильно давала о себе знать. «На каждом шагу встречались Скалозубы не только в армии, но и в гвардии, для которых было непонятно, чтобы из русского человека воз-

---

[1]) Записки Якушкина, сс. 3—4, 5.

можно выправить годного солдата, не изломав на его спине несколько возов палок. Все почти помещики смотрели на крестьян своих, как на собственность, вполне им принадлежащую, и на крепостное состояние, как на священную старину, до которой нельзя было коснуться без потрясения самой основы государства. По их мнению, Россия держалась одним только благородным сословием, а с уничтожением крепостного состояния уничтожалось и самое дворянство. По мнению тех же староверов, ничего не могло быть пагубнее, как приступить к образованию народа. Вообще свобода мыслей тогдашней молодежи пугала всех, но эта молодежь везде высказывала смело слово истины»[1]).

Чувство приподнятого патриотизма, обращенного, однако, не на внешнюю славу отечества, а на уврачевание его внутренних зол, резкая критика темных сторон существующего порядка, исходившая из понятий о человеческом достоинстве, и либеральные взгляды в политических вопросах составляли, таким образом, характерные особенности, по крайней мере некоторых военных и, в частности, гвардейских кружков после 1814 года. Существует любопытное указание, что эти особенности — не без прямого влияния непосредственных сношений с офицерскими кружками — были быстро усвоены и лицейской средою данной поры. Такое указание представляет собою донос, не-

[1]) Там-же, сс. 8—10, 24—5.

сколько позже этого времени поданный на лицей и его направление. «В свете, по словам неизвестного доносчика, называется *лицейским духом*, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надобно показаться любителем равенства. Молодой вертопрах должен при сем порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или самому быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском — знать все дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Сверх того он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах, казаться неверующим христианским догматам и более всего представляться филантропом и русским патриотом. К тому принадлежит также обязанность насмехаться над выправкой и обучением войск и в сей цели выдумано ими слово шагистика» [1]. Дело, конечно, не в тоне этого документа, а в самом факте, им указываемом. Не мешает припомнить еще, что среди лейб-гусар Пушкин познакомился и сдружился с одним из наиболее замечательных людей своей эпохи, П. Я. Чаадаевым. В свою очередь ближайший друг Пушкина в лицее

---

[1]) Р. Старина, 1877, № 4, с. 657: «Нечто о Царскосельском лицее и о духе его».

рассказывает о себе самом: «еще в лицейском мундире я был частым гостем (офицерской) артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцев, Павел Колошин и Семенов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем». [1])

Живая и восприимчивая натура не позволила Пушкину остаться безучастным к совершавшемуся вокруг него общественному движению и избегнуть влияния идей, с такой могучей властью подчинявших себе его сверстников. В своих первых поэтических опытах, относящихся к тому времени, когда еще не совсем улеглась борьба союзников с Наполеоном, он не пошел по торной дороге военного патриотизма и не то с робостью, не то с насмешкой отклонял призывы ступить на эту дорогу[2]). Немногие стихотворения, написанные им на эти темы, не принадлежат к числу лучших его произведений лицейской поры. Но уже в тех же лицейских стихотворениях, среди анакреонтических и элегических пьес, встречаются и первые проблески гражданских мотивов, приурочивае-

---

[1]) Майков, назв. сочин. с. 69.

[2]) «К Батюшкову», 1815 г., — Сочинения Пушкина, I, 77—8; здесь, как и везде далее, мы цитируем по изданию Литературного Фонда.

мых, правда, пока к классическим темам[1]). С выходом Пушкина из лицея, со вступлением его в более широкое общество эти мотивы быстро разростаются в его поэзии, сбрасывая с себя классическую одежду и принимая чаще всего сатирическую форму. Нет сомнения, что самому поэту эпиграммы и злые шутки, срывавшиеся с его уст, нередко, особенно в первое время, представлялись более или менее невинною, хотя и дерзкою шалостью, так метко охарактеризованною им самим в послании к В. В. Энгельгардту 1819 г.[2]). Но иначе смотрело на это общество, да и звуки Пушкинской лиры быстро крепли. В короткое время, как бы мимоходом, юный поэт успел, однако, затронуть почти все обсуждавшиеся в либеральных кружках Петербурга темы, порою выказывая при этом поразительную энергию. Во главе подобных произведений его этой поры стоит знаменитое первое послание к Чаадаеву, так ярко схватывавшее настроение современной поэту петербургской молодежи и еще и теперь не утратившее своей свежести.

---

1) «Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода,
Во мне не дремлет дух великого народа...»
«Лицинию», 1815; там-же, I, 72.

2) Там-же, I, 199:
.......«Приеду я
В начале мрачном октября;
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злова,
Насчет холопа записнова,
Насчет небесного Царя,
А иногда насчет земнова».

Любви, надежды, гордой славы
Недолго тешил нас обман;
Исчезли юные забавы,
Как дым, как утренний туман!
Но в нас кипят еще желанья:
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванья!
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты сладкого свиданья.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души высокие порывы.
Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишет наши имена.

В написанном годом позднее послании к А. Ф. Орлову, имеющем в сущности полу-интимный характер, Пушкин мимоходом несколькими язвительными стихами клеймит армейские порядки этой эпохи, восхваляя в «русском генерале» «любезность, разум просвещенный» и отдавая своему собеседнику честь в том, что он, хотя и учит солдат, «но не бесславит сгоряча — свою воинствен-

ную руку — презренной палкой палача». К этому же году относится «Деревня» с ее энергичным протестом против крепостного права и тогда же, повидимому, написана и ода «Вольность»[1]). Эпиграммы 1818 года на «Историю» Карамзина, на кн. Голицына и архим. Фотия в начале 1820 года находят себе достойное продолжение в эпиграммах на Аракчеева, полных то убийственного сарказма, то едва сдержанного гнева.

Эта сторона поэтической деятельности Пушкина вызывала неодинаковое отношение к себе даже среди безусловных почитателей его таланта. Бывшие учителя его в деле литературы, теперь уже превзойденные им степенные Арзамасцы, близкие к влиятельным сферам и придворным кругам, с неудовольствием покачивали головами по поводу либерализма поэта, видя в нем лишь небезопасные проказы молодости, аналогичные другим проказам и увлечениям гениального юноши. Даже в наиболее умеренных из этих его произведений они находили излишние крайности. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому о «Деревне»: «есть сильные и прекрасные стихи, но и преувеличения насчет псковского хамства». В дру-

---

[1]) В издании Лит. Фонда (I, 219—21) она отнесена почему то к 1820 году, но она была известна петербургским приятелям поэта уже в 1819 г. (так А. И. Тургенев пишет о ней П. А. Вяземскому 5 авг. 1819 г., см. Остафьевский Архив кн. Вяземских, I, СПБ. 1899, с. 280), а сам Пушкин в шуточном произведении 1825 г.: «Воображаемый разговор с имп. Александром» относит ее написание даже к 1817 г. (Соч. Пушкина, изд. Лит. Фонда, V, 37.)

гой раз он же, после присылки Вяземским стихотворения о Сибирякове, поэте-крепостном, за выкуп которого его помещик Маслов требовал 10.000 рублей, сообщал: «Пушкин бесится, что ты у него отнял такой богатый сюжет, а я этому рад, ибо он пересолил бы самое негодование» [1]). Оду «Вольность», или, как она иначе называлась «Стансы на свободу», Тургенев не решался даже отправлять почтою Вяземскому в Варшаву: «я боюсь, — писал он, — и за него и за тебя посылать их к тебе. Les mures peuvent avoir des yeux et même des oreilles» [2]).

За то среди либерально настроенной молодежи эти произведения встречали живое сочувствие и восхищение. «Везде,—рассказывает Пущин,—ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет . . .» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов»[3]). Почти теми же словами говорит и другой современник: «все его ненапечатанные стихо-

---

[1]) Остафьевский Архив кн. Вяземских, I, СПБ. 1899, сс. 296, 304; стоит припомнить, что имп. Александр, прочитав «Деревню», поручил передать Пушкину благодарность за «прекрасные чувства».

[2]) Там же стр. 335, письмо от 22 окт. 1819 г. Вяземский, потому ли, что он был смелее, или потому, что неясно представлял себе дело, остался недоволен Тургеневым. «Присылай же песню Пушкина, — писал он, — что ты за трусишка такой. Я никого и ничего не боюсь. Пускай у стен не только уши и глаза, но и рот будет: я все-таки стану бить в нее горохом», там же, сс. 442—3.

[3]) Майков, назв. соч., с. 70.

творения: Деревня, Четырехстишие к Аракчееву, Послание к П. Чаадаеву и много других, были не только всем известны, но не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть»[1]). В этих произведениях многие представители молодого поколения находили отражение собственных идей и чувств, и тем быстрее росла известность поэта.

По отношению к передовым кружкам тогдашней молодежи Пушкин не был однако их певцом и вдохновителем, как не был и простым их отголоском. Если для последней роли он был слишком самостоятелен, то для первой ему недоставало выдержанной прямолинейности характера и сосредоточенности страсти.

Общественное движение, начавшееся в 1812 году, развивалось с той поры не только вширь, но и вглубь, и это развитие шло вперед быстрыми шагами. Если по окончании Наполеоновских войн для многих еще не было ясно, что либеральные элементы русского общества и правительство пошли по совершенно различным дорогам, то к 1820 году это уже обнаружилось с полной очевидностью. Правда, в теории либеральные идеи и теперь еще не совсем были заброшены в правительственных сферах. В речи, произнесенной имп. Александром в Варшаве 15 марта 1818 года при открытии первого сейма Царства Польского, заключалось знаменательное обещание «законно-

---

[1]) Записки Якушкина, с. 67.

свободных учреждений» для России[1]). Дело, в 1809—11 гг. составлявшее предмет попечения Сперанского, было передано теперь в руки Новосильцева и под его руководством французский юрист Deschamps писал в Варшаве проект новых учреждений для России, а князь П. А. Вяземский перелагал этот проект на русский язык[2]). Но, несмотря на эти громкие обещания и тайные работы, не имевшие будущего, реальная политика правительства решительно шагнула на путь реакции. Первым лицом в правительстве стал Аракчеев и его тяжелая рука всюду давала себя чувствовать. Военные поселения нависли грозою над крестьянами и солдатами, в армии опять усилилась ослабевшая было жестокость дисциплины, печать лишилась возможности трактовать о существенных политических и социальных вопросах, учебные заведения подверглись строгому надзору, а затем в них начались и печальные разгромы, имевшие своею целью истребить успехи вольномыслия и останавливавшие успехи просвеще-

---

[1]) Вот это место речи: «Образование, существовавшее в вашем крае, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние, надеюсь, я, при помощи Божией распространить и на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». См. «Северную Почту», 1818 г., № 26.

[2]) Полное собрание сочинений кн. Вяземского, II, 87.

ния в стране, и без того им не богатой. При таких условиях людям, мечтавшим об обновлении России, приходилось все более разочаровываться в существовавшей у них первоначально надежде встретить поддержку в деле этого обновления со стороны самого правительства. Это обстоятельство не подорвало однако их энергии, а лишь направило ее в другую сторону. Еще в 1816 году небольшой кружок гвардейских офицеров (братья Муравьевы и Муравьевы-Апостолы, кн. С. П. Трубецкой, кн. И. А. Долгоруков, И. Д. Якушкин, П. Пестель, Лунин, Ф. Н. Глинка и др.) образовали первое тайное общество, для которого в следующем году был выработан Пестелем и устав. Члены общества, получившего имя «Союза Спасения» или «истинных и верных сынов отечества», обязывались содействовать всем благим начинаниям правительства и частных лиц, добиваться исправления администрации, обличая злоупотребления отдельных ее деятелей, распространять просвещение и улучшать общественные нравы путем личного примера и пропаганды гуманных идей. Конечною целью деятельности общества предполагалось изменение политического строя России и введение в ней представительных учреждений, но для достижения этой цели не указывалось никаких конкретных путей. Тайное общество не имело еще, таким образом, ясного характера заговора. Повидимому, на первых порах люди, усвоившие себе новый образ мыслей и рассеянные среди враждебно косившегося на них консервативного боль-

ииинства, чувствовали просто потребность теснее сплотиться между собою для обмена мнениями и отыскания какой нибудь деятельности в духе своих идей. И этой то потребности отвечало устройство тайного общества по образцу существовавших в Германии. Не оказалось недостатка и в новых кандидатах в «Союз Спасения». Между прочим одним из первых был принят введенный Бурцевым 18-летний юноша И. И. Пущин, только что сошедший, вместе с Пушкиным, с лицейской скамьи. В своих записках, веденных уже на старости лет, он оставил любопытное указание на тот под'ем духа, каким сопровождалось для новых членов вступление в «Союз». После принятия в общество, — разсказывает он, — «эта высокая цель жизни самою своею таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою; я как будто получил особенное значение в своих собственных глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицею, хотя ничего не значущею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно иметь благотворное действие». [1]) Искренность и безусловную правдивость этих слов Пущин доказал всею своею последующею жизнью. Через несколько лет по вступлении в общество он сменил блестящий мундир конно-артиллерийского офицера на сравнительно скромную должность судьи в уголовном департаменте московского над-

[1]) Майков, назв. соч., с. 69.

ворного суда, руководясь правилом тайного общества — поднимать уважение к общественным должностям и собственной деятельностью содействовать улучшению всех полезных отраслей администрации, проводя в нее начала гуманности и бескорыстия. Подобный шаг требовал немалого нравственного мужества в то время, когда на деятельность, избранную Пущиным, в свете, к которому он принадлежал,смотрели чуть не с презрением. Как судья и как человек, Пущин вызывал дань невольного уважения даже со стороны лиц, являвшихся ревностными и озлобленными противниками исповедуемых им взглядов[1]). И позднее, в годы ссылки, он не утратил бодрого настроения и до старости пронес невредимым под тяжелыми ударами судьбы гордый и цельный идеализм своей юности. Приблизительно такой же под'ем нравственного чувства переживали и другие молодые участники общества. Поставленная перед ними высокая, хотя несколько и туманная, цель освещала жизнь, помогала переносить нередко пустое и тяжелое настоящее и заставляла готовиться к

---

[1]) Греч, постаравшийся в своих воспоминаниях очернить всю группу людей, к которым принадлежал И. И. Пущин, об этом последнем отзывается, однако, как о «благородном, милом, добром, молодом человеке, истинном филантропе, покровителе бедных, гонителе неправды»; самое вступление его в тайное общество Греч об'ясняет тем, что он «познакомился на беду свою с Рылеевым, увлекся его сумасбродством и сгубил себя». Н. И. Греч. Записки о моей жизни, СПБ. 1886 г., с. 407. В действительности, как мы еще увидим, дело происходило как раз наоборот: не Пущин Рылеевым, а Рылеев Пущиным был принят в общество.

лучшему будущему, а сознание принадлежности к проникнутому одним стремлением обществу, могущему оказать поддержку своим сочленам, сообщало им уверенность в своих силах. В 1818 г. «Союз Спасения» был переименован в «Союз Благоденствия» и вместе с тем устав его подвергся новой обработке, но и в ней политический характер, несомненно, еще более ставший теперь присущим обществу, не определился с полною ясностью. На собраниях членов «Союза» шли в неизменном либеральном духе разговоры на политические темы, горячо дебатировался, между прочим, вопрос об освобождении крестьян, но дальше просветительных начинаний отдельных участников и устной пропаганды либеральных взглядов члены «Союза» пока не шли. Н. И. Тургенев задумал было издание политического журнала, путем которого «Союз Благоденствия» мог бы влиять на более широкие круги общества. К участию в журнале привлечены были многие члены «Союза» в том числе и Пущин; сам Тургенев написал уже несколько статей по уголовному праву и о суде присяжных, но этому предприятию не пришлось осуществиться. Не удались и попытки М. Ф. Орлова привлечь к просветительной деятельности в духе «Союза Благоденствия» Арзамас и Библейское общество: оба названные общества отклонили от себя эту задачу.[1]) За то устная пропаганда делала свое де-

[1]) Tourgeneff, La Russie, et les Russes, I, 84—5, 171—3; Записки Вигеля V, 52—3; речь Орлова в Киевском отделении Библейского общества 11 авг. 1811 г., см. в Сборнике Истор. Общества, т. 78, сс. 519—23.

ло, особенно в кругах офицерской молодежи. «Влияние членов «Союза» в Петербурге — говорит один из современников этой эпохи — было очевидно. В Семеновском полку палка почти совсем была уже выведена из употребления; в других полках ротные командиры нашли возможность без нее обходиться. Про жестокости, какие бывали прежде, слышно было очень редко»[1]). Быстро росло в эти годы и число членов тайного общества. Вербовка их совершалась в кругах, близких Пушкину; вслед за приятелем его со школьной скамьи, Пущиным, в общество вошло немало и других близких знакомых поэта, но сам он не был приглашен в «Союз Благоденствия» и едва лишь подозревал в эту пору своей жизни об его существовании. Это удаление тайного общества от Пушкина, которое не могло быть ни случайным, ни бессознательным, находило себе различное истолкование в нашей литературе. Высказывалось — в форме то предположений, то решительного утверждения — и такое мнение, что члены тайного общества не желали подвергать Пушкина опасности, щадя в нем великий талант родной литературы. На это не без основания возражали, что устроители и члены политических обществ обыкновенно не руководятся подобными соображениями. Люди, так страстно преданные своим идеям, как это было с большинством членов «Союза Благоденствия», не могли знать ничего выше

---

[1]) Записки Якушкина, с. 34.

служения этим идеям и должны были стремиться завербовать в свои ряды всякую выдающуюся силу, а Пушкин, несомненно, уже представлял собою такую силу, пренебрегать услугами которой без серьезных мотивов было бы странно, тем более, что и в его поэтическом творчестве данной поры слышался энергический отзвук тех самых идей, какие вдохновляли деятелей «Союза Благоденствия». Записки Пущина доставляют, кажется, возможность окончательно разрешить этот вопрос о мотивах, заставлявших участников «Союза» воздерживаться от принятия Пушкина в свой состав. Правда, Пущин говорит здесь только за себя, но те побуждения, которые были в этом случае у него, самого близкого приятеля поэта, должны были, и, быть может, еще с большею силой, действовать и на других его товарищей по обществу.

По рассказу Пущина, первою его мыслью по вступлении в общество было открыться Пушкину: «он всегда — поясняет рассказчик — согласно со мною мыслил о деле общем, по своему проповедывал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой». Но в этот момент Пушкина не было в Петербурге: он по окончании курса в лицее отдыхал в деревне и, пока он вернулся оттуда, приятель его успел раздумать. Потом — говорит Пущин — «я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение

с людьми ненадежными пугали меня». Однако перемена, происшедшая в самом Пущине, обратила на себя внимание поэта, он заподозрил существование скрываемой от него тайны и неоднократно настойчиво пытался открыть ее. Его приятелю в виду этих попыток приходилось переживать минуты тяжелых сомнений и снова спрашивать себя, не следует ли открыть Пушкину существование «Союза Благоденствия» и предложить присоединиться к нему. «Между тем — продолжает он — тут же невольно является вопрос: почему же, помимо меня, никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал о нем? Значит, их останавливало то же, что меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия». Но мысль о том, чтобы охранять Пушкина от тайного общества, и в голову не приходила восторженно настроенному юному другу его, совершенно напротив. «Я — рассказывает он, — страдал за него и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным его клеймом поможет ему повнимательнее и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в нормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших, сокровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей природе его угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не в праве действовать по личному шаткому воззре-

нию, без полного убеждения в деле, ответственном перед целью самого союза». [1])

Этот обстоятельный рассказ совершенно разъясняет дело и не оставляет места дальнейшим сомнениям. Очевидно, участники «Союза Благоденствия», скрывая свою тайну от Пушкина, не столько оберегали его от риска, сопряженного со вступлением в ряды тайного общества, сколько опасались неудобных последствий от такого вступления для самого общества. Кипучий, не установившийся еще окончательно характер поэта, его слишком разнообразные светские связи и знакомства, тесная дружба его с деятелями Арзамаса, которые, если и не были представителями строгого консерватизма, то в большинстве все же неодобрительно смотрели на радикальную молодежь [2]), — все это создавало почву для подобных опасений. Но, и не будучи посвящен в тайну «Союза», Пушкин не чужд был известной близости к его идеям и его влияния: со многими отдельными его членами он находился в постоянных, и порой очень близких, сношениях, разделял их общественные взгляды и

---

[1]) Майков, назв. соч. сс. 69—70, 70, 73, 74.

[2]) Из членов Арзамаса Жуковский, которому сделано было прямое предложение войти в «Союз Благоденствия», отклонил его, отозвавшись об уставе Союза в выражениях настолько лестных, что они походили на иронию, см. Записки кн. Трубецкого, с. 80. А. И. Тургенев находил неуместным даже призыв М. Ф. Орловым Библейского общества к просвещению народа, так как «сим нарушалась бы простая цель Библейского общества — раздача библии», см. Остафьевский Архив, I, 296—7 и 306.

испытывал на себе воздействие их приподнятого идеалистического настроения. Не даром в послании 1821 г. к одному из наиболее видных людей этого круга, П. Я. Чаадаеву, он такими яркими и привлекательными чертами обрисовывает его значение в своей внутренней жизни: «во глубину души вникая строгим взором, — ты оживлял ее советом иль укором; — твой жар воспламенял к высокому любовь; — терпенье смелое во мне рождалось вновь»... Тем не менее слова Пущина о проповеди Пушкиным тех же взглядов, какие вдохновляли самого Пущина и его товарищей, могут быть приняты лишь с некоторыми оговорками. При всей своей симпатии к освободительным стремлениям эпохи Пушкин не был охвачен таким глубоким, и, главное, таким безраздельным увлечением общественными интересами, какое переживали некоторые его сверстники. Для этого, не говоря уже о различных влияниях, отвлекавших его в сторону, в его собственной природе, может статься, слишком преобладали чисто художественные инстинкты и слишком сильна была жажда разнообразия жизненных впечатлений. Соответственно этому определилась и роль гражданских мотивов в его творчестве данной поры. Симпатии к бесправному крепостному и признание за ним человеческого достоинства, резкий протест против обскурантизма и произвола, вольнолюбивые мечты и смелые надежды, — все эти главные мотивы общественного движения вошли в поэзию Пушкина, озаренные в ней розовым светом того оптимисти-

чески настроенного идеализма, какой присущ был данной эпохе жизни русского общества. В целом однако Пушкин этой поры едва-ли мог бы назваться поэтом-гражданином, певцом скорби и боли современного ему поколения. Мотивы гражданского гнева и скорби далеко не занимали первенствующего места в светлой, жизнерадостной поэзии певца «Руслана и Людмилы» и сравнительно даже редко звучали в ней.

Но по тем временам даже и таких откликов, какие порой давала Пушкинская муза на злобу дня, оказалось достаточно для того, чтобы вызвать радикальную перемену в жизни поэта. Реакция все усиливалась, и над головою Пушкина, не ждавшего беды, собралась гроза. Ходившие по рукам в обществе не напечатанные произведения его, в особенности ода «Вольность» и эпиграммы на Аракчеева, обратили на себя неблагосклонное внимание властей и об опасном направлении молодого поэта доложено было имп. Александру. Возникали предположения о ссылке Пушкина в Сибирь или заточении в Соловки и, только благодаря вмешательству некоторых друзей его и благожелательно расположенных к нему людей,[1]

[1]) По рассказам современников, в смягчении участи Пушкина принимали участие П. Я. Чаадаев, Н. М. Карамзин, Ѳ. Н. Глинка, гр. Милорадович и директор лицея Е. А. Энгельгардт. При этом всех суше и высокомернее держал себя Карамзин. Условием своего заступничества он поставил требование, чтобы Пушкин в течение по крайней мере года не писал ничего, противного правительству. «Иначе, говорил он, я выйду лжецом, прося за вас и говоря о вашем раскаянии». Когда

дело окончилось не столь трагически. «Для пользы службы» Пушкин, числившийся по министерству иностранных дел, был переведен в распоряжение попечителя иностранных колоний на юге России, генерала Инзова, и 5 мая 1820 г. выехал из Петербурга в Екатеринослав. С этого момента в его жизни начался новый период, ознаменованный своими особенностями.

В этой высылке на юг даже многие друзья Пушкина видели благоприятное для него обстоятельство, давшее ему возможность набраться новых впечатлений и расширить свой поэтический кругозор. Позднее этот взгляд был усвоен и некоторыми биографами поэта, замечавшими вдобавок, что жизнь его в Екатеринославе и в Кишиневе, куда он перебрался вслед за переводом в этот город Инзова, не подвергалась чрезмерным стесне-

---

же судьба Пушкина была окончательно решена, Карамзин писал об этом П. А. Вяземскому: «Пушкин был несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм. Дал мне слово уняться и поехал в Крым (sic) месяцев на пять; ему дали рублей тысячу на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности; но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чортом, еще до отбытия своего в ад». См. П. Бартенев. «Пушкин в южной России», Р. Архив, 1866, сс. 1098—9 и П. П. Вяземский, «А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям». Р. Архив, 1884, № 4, с. 381.

ниям и не была собственно похожа на жизнь настоящего ссыльного. Благодушный оптимизм современников, за художником забывавший живого человека, отметил в свое время сам Пушкин и дал на него не лишенный оттенка скорбной иронии ответ:

К доброжелательству досель я не привык
. . . .
Постигнет ли певца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье —
«Тем лучше», говорят любители искусств:
«Тем лучше! наберет он новых дум и чувств
«И нам их передаст».

(«Ответ Анониму», 1830.)

Едва ли можно вполне согласиться и с указанными соображениями биографов. Действительно, Инзов, под наблюдение которого был отдан Пушкин, мягко и дружелюбно относился к нему, разрешал ему уезжать из Екатеринослава на Кавказ и в Крым, потом из Кишинева в Киев и Каменку, не теснил его и даже заступался за него перед высшими властями, но при всем том ссылка оставалась для Пушкина ссылкою. Главное ее значение заключалось в насильственном лишении свободы и в том, что она порвала все прежние связи и отношения поэта, перебросив его из центра умственной жизни страны на глухую окраину империи, и это ее значение не могло быть искуплено никаким добродушием Инзова. Мы знаем,

как быстро разросся гений поэта в годы ссылки и при всех неблагоприятных условиях, но нам остается неизвестным, как совершался бы этот рост в свободно избранной самим поэтом обстановке, при постоянном общении с тем высоко-интеллигентным кругом людей, который он покинул в Петербурге.

Верно во всяком случае то, что высылка, а затем жизнь вдалеке от обстановки, в которой прошла первая юность поэта, дали сильный толчок той внутренней работе над самим собой, какая началась у Пушкина еще в Петербурге. В своем Кишиневском послании к Чаадаеву он сам наметил ход и плоды этой работы:

Для сердца новую вкушаю тишину,
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд и жажду размышлений;
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в об'ятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугам улыбнулись . . .

В нашей литературе сделана была попытка умалить значение этого произведения, как автобиографического показания. «Спокойный, мудро-эпический тон пьесы — писал Анненков — нахо-

дится в совершенном противоречии со всем, что мы знаем о бешеной жизни Пушкина в эту эпоху, и еще раз показывает, как заблуждаются биографы и в какое заблуждение вводят читателей, когда на основании стихотворений, в которых личность поэта является преображенной поэзией и творчеством, вздумают судить о действительном, реальном ее виде в известный момент» [1]). Кажется, однако, осторожность завела в данном случае биографа черезчур далеко и сообщила ему некоторую близорукость. Конечно, слова Пушкина нельзя принимать совершенно буквально. Он и в Кишиневе не был анахоретом, не отказывался проводить время в веселой молодой компании, ухаживал за женщинами, подчас кутил с приятелями и позволял себе самые смелые шутки и проказы, порой кончавшиеся даже дуэлью. Но ведь умеренность и вообще никогда не принадлежала к числу добродетелей Пушкина. При всем том, если бы даже у нас не имелось никаких сведений о подробностях его жизни в Кишиневе, одного перечня созданных и задуманных им здесь произведений было бы достаточно, чтобы видеть, как энергична и плодотворна была его работа за это время. Есть, однако, и прямые показания близко знавших поэта современников, свидетельствующие о том, что в этот период своей жизни он, действительно, несмотря на наружное легкомыслие, с осо-

---

[1]) Анненков. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПБ. 1874, с. 156.

бенною жадностью работал и учился[1]). К тому же и в обстановке кишиневской жизни, какою ее застал Пушкин, были известные особенности, возбуждавшие работу мысли и направлявшие ее на определенный путь. Благодаря им, внимание к политическим вопросам, пробудившееся в Пушкине в Петербурге, на новой почве не только не ослабло, но еще и нашло для себя новую пищу.

Пушкин явился в Бессарабию, когда подготовлялось восстание греческой гетерии, на его глазах затем и разыгравшееся. Полусонный в другое время Кишинев переживал необычное для него оживление, благодаря с'езду гетеристов и беглецов из Молдавии и Валахии. «На каждом шагу — рассказывает Вельтман — загорался разговор о делах греческих: участие было необыкновенное. Новости разносились, как электрическая искра, по всему греческому миру Кишинева. Чалмы князей и кочулы бояр раз'езжали в венских колясках из дома в дом, с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход; всему верили, все служило пищей для толков и преувеличений»[2]). Среди монотонной жизни глухого городка это движение заинтересовало Пушкина не

---

[1]) Особенно интересны в этом отношении воспоминания И. И. Липранди (Р. Архив, 1866 г.). То обстоятельство, что для автора их поэтическое творчество Пушкина оставалось книгою за семью печатями, сообщает им известную наивность, но оно же в других случаях делает их особенно ценными.

[2]) Майков, назв. соч., с. 118.

только общею своей стороной, но и отдельными личностями, которые участвовали в нем. «Эта новая общественная сфера, — сообщает другой очевидец, — мне казалось, пробудила Пушкина; с одной стороны она предоставляла более, так сказать, разгула его живому характеру, страстно преданному всевозможным наслаждениям; с другой он встречал в некоторых фанариотах . . . людей с глубокими и серьезными познаниями». Более или менее близкое общение с такими людьми, укрепляя в Пушкине либеральные понятия, вместе с тем заставляло его живее чувствовать недостатки своего образования и стремиться пополнить их[1]).

Но не одни лишь греки-гетеристы были в Кишиневе носителями либеральных идей. Осмотревшись на новом месте жительства, Пушкин встретил людей, одушевленных этими идеями, и в русском обществе, притом подчас на видных постах. И здесь, как в Петербурге и других городах, это были по преимуществу военные. Дивизиею, расположенной в Бессарабии, командовал в это время

---

[1]) Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди, Р. Архив, 1866, сс. 1244—5. Он же передает следующий анекдот, живо показывающий, как соединялась у Пушкина в эту пору жажда знаний с чисто юношеским самолюбием: «Однажды с кем то из греков в разговоре упомянуто было о каком то сочинении. Пушкин просил достать ему. Тот с удивлением спросил его: «Как! вы поэт и не знаете об этой книге?» Пушкину показалось это обидно и он хотел вызвать возразившего на дуэль. Решено было так: когда книга была ему доставлена, то он при записке возвратил оную, сказав, что эту он знает. После сего мы и условились: если что нужно будет, а у меня того не окажется, то я доставать буду на свое имя».

М. Ф. Орлов, с именем которого мы уже встречались, человек просвещенный и разделявший взгляды передовой части общества. Одно время он был членом «Союза Благоденствия», из которого вышел однако в 1821 г. Впрочем, он и после того в своей деятельности до известной степени проводил убеждения, свойственные Союзу, изгоняя из вверенных ему войск палку и заботясь о просвещении солдат. Членом «Союза Благоденствия» был и старший ад'ютант Орлова, Охотников. В доме Орлова Пушкин встретил радушный прием со стороны как самого хозяина, так и всего офицерского общества, здесь собравшегося. Но особенно сошелся Пушкин из встреченных им в Кишиневе офицеров с майором В. Ф. Раевским, заведывавшим в дивизии Орлова солдатской ланкастерской школой и также принадлежавшим к числу членов «Союза Благоденствия». Обладая серьезным образованием, Раевский, сверх того, отличался решительным характером и резким, насмешливым умом. Сближению его с Пушкиным не мало способствовало и то обстоятельство, что он питал живой интерес к литературным вопросам и даже сам писал стихи. Пушкин нередко вступал в спор с ним, но тем не менее до некоторой степени находился под его влиянием. Любопытные подробности об этом сохранены в воспоминаниях Липранди. После споров с Раевским, — рассказывает он, — «Пушкин неоднократно на другой или на третий день, брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Пушкин, как

вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского, под веселую руку обоих довольно резкие выражения и далеко не обижался, а, напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского. В одном, сколько я помню, Пушкин не соглашался с Раевским, когда этот утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из миѳологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, что у нас то и другое есть свое и т. п.». Беседы о литературе в этом офицерском кружке сменялись разговорами на общественные темы, а последние, в свою очередь, иногда приводили к своего рода литературным занятиям, когда по почину Раевского, бывшего «всегда в весело-мрачном расположении духа», при участии Пушкина сочинялись сатирические песни, осмеивавшие усиливавшийся в армии формализм и т. п. [1]). Но

---

[1]) Р. Архив, 1866 г., сс. 1255—7. В тех же записках можно найти примеры обычных в тогдашней армии жестокостей, которые, совершаясь даже под гуманным начальством Орлова, вызывали раздражение и протест среди молодых офицеров. Приведем один из них. «В начале декабря 1821 г. два унтер-офицера, георгиевские кавалеры... явились к Орлову с жалобой на майора Вержейского, что он, не смотря на георгиевские кресты, неоднократно их наказывал ...и около недели тому назад, найдя какие то беспорядки на 6 кордонах, ими с капральствами занятых, на каждом из этих кордонов давал по 20 розог или палок, смачивал рассеченное тело соленой водой и переводил за две и за три версты до другого кордона, возобновляя наказание на каждом, так что им было дано в несколько часов времени по 120 ударов палками и розгами; потом на ночь в батальонной квартире их привязали к поднятым оглоблям саней как бы распятыми... Излишне говорить об ужасах, открытых по следствию. Майор Вержейский был предан суду», там же сс. 1432—3.

близкие сношения Пушкина с Раевским были непродолжительны. В 1821 году был поднят во второй армии переполох доносом, что в дивизии Орлова среди офицеров составляется тайное общество, а солдаты в ланкастерской школе «толкуют о каком то просвещении». Раевский, который обратил на себя внимание начальника штаба корпуса своим независимым характером и на которого вдобавок донесли, что он в ланкастерской школе «задабривает солдат . . . и что прописи включают в себе имена известных республиканцев: Брута, Кассия и т. п.», в начале 1822 г. был арестован и заключен в Тираспольскую крепость. Отсюда он еще переслал Пушкину свое произведение: «Певец в темнице», но видеться им уже более не пришлось[1]). Наконец, в Кишиневе же, еще в начале

[1]) Р. Старина, 1883 г., т. 40, № 12, с. 657. Из дневника и воспоминаний Липранди, Р. Архив, 1866, сс. 1437—52, 1469—70. Когда Пушкин жил в Одессе, ему предлагали устроить свидание с Раевским в крепости, но он отказался, т. к. его собственное положение сильно ухудшилось и он не без основания опасался еще больше испортить его таким свиданием. Дальнейшая судьба В. Ф. Раевского была очень печальна. За ним не нашли никакого преступления и самые прописи, употреблявшиеся им в солдатской школе и поставленные ему сперва в вину, оказались одинаковыми во всей армии и выписанными для нее из Петербурга. Но резкие ответы Раевского озлобили судей. Его держали в Тираспольской крепости до конца 1825 г. и тогда отправили в Петербург. Хотя он оказался непричастным к событиям 14 декабря 1825 г., он все же был отправлен для нового следствия в Динабург, а отсюда, несмотря на мнение в. к. Константина Павловича, не видевшего за ним вины, был, по настоянию Дибича, лишен прав и сослан в Иркутск, где пробыл до 1856 г., когда был освобожден, но без возвращения чина.

1821 года, Пушкин познакомился и с главным деятелем «Союза Благоденствия» на юге, Пестелем, который проезжал в это время в Молдавию и даже при непродолжительном знакомстве поразил поэта своим выдающимся и оригинальным умом [1]).

Был и еще пункт, в котором ссыльный поэт отдыхал душою, встречаясь с людьми, не входившими в серые рамки его будничной кишиневской жизни. «Я нахожусь — писал он Гнедичу 4-го декабря 1820 г. — в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами, общество наше, теперь рассеянное, было недавно — разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов» [2]). В записках одного современника мы имеем описание и этого общества, и части тех «демагогических споров», какие в нем велись. Кроме Пушкина, в имении Давыдо-

---

[1]) В своем кишиневском дневнике Пушкин под 9 апр. 1821 г. записал: «Утро провел я с Пестелем. Умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и пр. Один из самых оригинальных умов, которых я знаю». Соч. Пушкина, V, 6. В виду этой записи, сделанной для себя, едва ли приходится доверять рассказу Липранди о недружелюбном отношении Пушкина к Пестелю, см. Р. Архив, 1866 г., стр. 1258.

[2]) Соч. Пушкина, VII, II.

вых, Каменке, гостили в ноябре этого года генерал Раевский с сыном А. Н. Раевским, приятелем поэта, М. Ф. Орлов, Охотников и И. Д. Якушкин. За исключением Раевского и Пушкина, все гости, а из хозяев — В. Л. Давыдов, принадлежали к «Союзу Благоденствия», Якушкин же и приехал в Каменку исключительно по его делам. Это неизбежно прорывалось до некоторой степени и в общих разговорах. Пушкин и молодой Раевский чувствовали вокруг себя атмосферу таинственности, заподозривали существование скрываемого от них секрета, и, чтобы сбить их с толку, остальные члены общества условились мистифицировать их. Устроен был по наружности серьезный диспут о том, нужно ли и возможно ли существование тайного общества, и, когда не только Пушкин, но и А. Н. Раевский стал защищать мысль об образовании такого общества и выразил готовность вступить в него — весь разговор был об'явлен простою шуткой. Тогда — продолжает рассказчик — «Пушкин встал, раскрасневшись, и сказал со слезой в глазах: я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженной и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка»[1]. Этот рассказ дает достаточное понятие о том душевном настроении, какое переживал Пушкин в данную пору. Как и два года назад, в Петербурге, он подозревал существование тайного общества, направляющего свои усилия к водворению либеральных идей, и стремился

[1]) Записки Якушкина, сс. 65—70.

войти в него, но по прежнему встречал препятствия к этому со стороны членов «Союза Благоденствия», опасавшихся его черезчур подвижного и увлекающегося характера[1]).

Тем не менее нити, связывавшие Пушкина с этою частью современного ему общества, не только не ослабли за время его пребывания в Кишиневе, но еще окрепли и увеличились в числе. Помимо случайных встреч со старыми знакомцами, помимо довольно редких сношений с немногими из оставшихся на севере друзей, он завязал теперь новые связи и знакомства в той же самой среде юного русского либерализма. В этой среде он встречал и признание своего таланта, и поощрение к дальнейшему серьезному труду, в ней находил он сочувственный отклик на свои запросы от общественной жизни, и под известным воздействием ее идей складывалось его собственное миросозерцание. И в Кишиневе, и в Каменке он встречал и других людей этого же круга, кроме названных уже нами более видных. Из Кишинева же завязалась у него переписка с тогдашним издателем «Полярной Звезды», А. Бестужевым, позднее во-

[1]) О недоверии к Пушкину членов Союза свидетельствуют и отзывы М. А. Бестужева и И. И. Горбачевского, которые редакция «Р. Старины» в свое время не решилась даже привести полностью в виду их резкости. И. И. Горбачевский в письме от 6 июля 1861 г. из Петровского завода утверждает, что членам тайного общества «от верховной думы было запрещено знакомиться с поэтом Пушкиным, когда он жил на юге, — и почему? Прямо было указано на его характер»... Р. Старина, 1880, т. 27, № I, с. 130.

влекшая его и в переписку с Рылеевым. В этой переписке, продолжавшейся до самого 1823 г., литературные вопросы нередко уступали место общественным или, вернее, разбирались в тесной связи с последними. «Как можно — пишет Пушкин по поводу статьи Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России» — в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это молчание непростительно»...[1]) В свою очередь в письмах и литературных произведениях этих своих корреспондентов Пушкин находил решительно поставленные и довольно обстоятельно аргументированные положения о необходимости независимости литературы и о роли гражданского элемента в поэзии, встречал прямые призывы к общественной сатире и определенные демократические взгляды, соединенные с добродушной насмешкой над свойственной ему кичливостью своим дворянским происхождением[2]). Все эти рассуждения и взгляды, так непо-

---

[1]) Соч. Пушкина, VII, 50.

[2]) Письма к Пушкину А. Бестужева, см. Р. Архив, 1881, I; Рылеева — «Сочинения и переписка К. Ф. Рылеева», изд. под редакцией П. А. Ефремова, СПБ. 1875. «Ты мастерски оправдываешь — писал Рылеев в 1825 г. — свое чванство шестисотлетним дворянством, но несправедливо. Справедливость должна быть основанием и действий, и самых желаний наших. Преимуществ гражданских не должно существовать, да они для поэта Пушкина ни к чему и не служат ни в зале невежды, ни в зале знатного подлеца, не умеющего ценить твоего таланта... Чванство дворянством непростительно, особенно тебе. На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин» (назв. соч., с. 213, ср. еще 212—13, 205—6).

хожие на понятия старого Арзамаса о чистом, самодовлеющем искусстве, уводили мысль на новые пути и образовывали лишнюю связь между поэтом и покинутым им в Петербурге общественным движением.

В самом этом движении происходил тем временем решительный кризис. Русский либерализм Александровского царствования переживал заключительную эпоху своего существования, близившегося к трагической развязке. Еще правительство, связанное своим прошлым, не принимало решительных мер к подавлению всех либеральных увлечений молодой части общества,[1]) но со дня на день яснее становилась и вся неосновательность надежд на возвращение его к политике первых лет царствования. Полный отказ правительства от пути общественных реформ вызывал глухое раздражение среди людей, видевших в таких реформах единственную возможность оздоровления государственного организма России. При таких условиях деятельность «Союза Благоденствия», заключенная в скромные рамки устной пропаганды либеральных людей, без указания конкретных путей для проведения их жизнь, перестала удовлетворять многих

[1]) В 1821 г. имп. Александр сказал командиру гвардейского корпуса Васильчикову в ответ на доклад его о тайном обществе: «Любезный Васильчиков! Вы, который служите мне с самого начала моего царствования, вы знаете, что я разделял и поощрял все эти мечты и заблуждения; не мне подобает быть строгим». Шильдер, Имп. Александр I, в Биограф. Словаре Р. Истор. Общества, т. I, с. 368.

его членов, в то самое время, как другие почувствовали потребность отшатнуться от либерализма, из невинного и даже модного учения открыто переходившего в разряд опасных. В начале 1821 года в Москве устроен был с'езд представителей «Союза Благоденствия», на котором решено было его закрытие. Оно явилось, впрочем, лишь средством удалить ненадежных и колеблющихся членов. Немедленно вслед за ним были образованы два новые общества, Северное и Южное, получившие эти названия по месту своих действий. Главные силы первого были в Петербурге, среди гвардии, второго — на юге, где была расположена вторая армия, и по преимуществу в Тульчине, месте пребывания ее штаба. В Петербурге общество проявило особенно энергичную деятельность после того, как Пущин ввел в него в 1823 г. Рылеева; Рылеев же, вместе с кн. Трубецким и Никитой Муравьевым, стоял здесь и во главе общества, в которое усердно вербовал новых членов. Им, между прочим, принят был в члены лицейский товарищ Пушкина, Кюхельбекер[1]). Руководство

---

[1]) Греч назвал Кюхельбекера «комическим лицом мелодрамы» (Записки о моей жизни, с. 352). Это отзыв слишком жестокий, но, что доля правды была в нем, показывают слова И. И. Пущина в его письме 1845 г. к Е. А. Энгельгарту из Ялуторовска: «Напрасно покойник Рылеев принял Кюхельбекера в общество, без моего ведома, когда я был в Москве. Это было незадолго до 14-го декабря. Еслиб вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день об'явления сентенции, то вы просто погибли бы от смеху, несмотря, что он был тогда на сцене довольно трагической и важной». Р. Архив, 1879, № 12, с. 473.

Южным Обществом сосредоточивалось в руках Пестеля. Оба эти общества, по преимуществу пополнявшиеся военною молодежью[1]), непосредственною своею целью ставили теперь насильственный переворот в государственном устройстве России. Не было выработано в сущности никакого определенного плана такого переворота, но его обсуждали, к нему в известной степени готовились, проектировали его последствия: в Петербурге Никита Муравьев писал проект государственных учреждений конституционной монархии с народным представительством, организованным на началах имущественного ценза, в Тульчине Пестель составлял план республиканского устройства на широких демократических основаниях, с некоторым даже социалистическим оттенком[2]).

Брожение умов, сказавшееся во всех этих событиях, отразилось и на Пушкине, соприкасавшемся с той средой, в которой оно происходило с особенной силой. Поэзия Пушкина и теперь не стала поэзией гражданской, тем менее политической, но в ней прорывались в эту пору более резкие и

---

[1]) Приблизительное понятие об участии различных поколений могут дать следующие данные: из 117 лиц, осужденных в 1826 г. верховно-уголовным судом, в возрасте от 20 до 25 лет находились 36 человек, от 26 до 30 лет — 43, от 31 до 35 лет — 25, от 36 до 40 лет — 10, от 41 до 45 лет — 2 и от 46 — 50 лет — 1.

[2]) Донесение следственной комиссии, сс. 28—9. В. И. Семевский: Из истории общественных течений в России в XVIII и первой половине XIX века. Историческое Обозрение, т. IX, сс. 377—8. См. также А. Н. Пыпин: Общественное движение при Александре I, и Богданович: История царствования Имп. Александра I, т. VI.

страстные звуки, чем когда бы то ни было[1]). В 1821 г. он написал свой «Кинжал», по энергии поэтического выражения едва ли не оставляющий за собою оду «Вольность», и к этому же году относится стихотворное письмо к В. Л. Давыдову, представляющее отголосок тех разговоров, какие велись в Каменке. Поэт напоминает своему корреспонденту то время,

Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной мерзлою струей
И за здоровье тех и той
До дна, до капли выпивали!...
Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет:
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет, — мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся, —
И я скажу: Христос воскрес![2])

---

[1]) В литературе высказано было такое мнение, будто Пушкин после от'езда из Петербурга в 1820 г. «не писал уже более политических стихотворений» (Скабичевский. Очерки Истории русской цензуры, СПБ. 1892, с. 171), но оно, очевидно, основано на недоразумении.

[2]) Соч. Пушкина, VII, 21. К этому же времени, если не ошибаемся, относятся «Послание к другу», известное пока в неполном виде, и «Мысль о свободе», из которой

В иной несколько форме, но та же основная мысль, те же призывы «свободы» и предчувствия ее повторяются в пьесе 1821 г. «Наполеон» и в написанном в 1823 г. «Отрывке», в котором выведены Наполеон и Александр. Не без влияния Байрона, вероятно, мысль о свободе в это время связывается у Пушкина с представлением о ней, как о завещании Наполеона. Байроном же отзывается и пьеса 1824 г. «К морю» с ее мрачным заключением:

Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Непросвещенье иль тиран.

Если кое-что в этих то гневных, то безнадежно-грустных звуках гражданской скорби, примешивавшихся к обычному мягкому тону пушкинской лиры, и следует отнести на счет влияния Байрона, с которым он как раз познакомился в эти годы, и личной судьбы самого поэта, то несомненно все же, что наряду с этим в числе причин, вызвавших такие звуки, известную роль играли и общие условия русской жизни, при оценке которых Пушкин находился под воздействием взглядов пе-

---

имеются в нашей печати первые четыре стиха (см. Р. Старина, 1871, № 12, статья г. Петрова «Скобелев и Пушкин» и Р. Архив, 1881, I, сс. 183—4).

«Взойдет ли наконец она
Среди небес родного края —
Давно желанная заря,
Заря свободы золотая».

редовых элементов русского общества. В полном согласии с этими взглядами написана была Пушкиным и известная Кишиневская записка о русской истории (1822 г.), в которой он решительно высказывался за освобождение крестьян и против сословных привилегий и «чудовищного феодализма»[1]). Но скоро все заключенные Пушкиным связи снова были порваны, и в обстановке его жизни последовала еще более крутая и суровая перемена, чем в 1820 г.

Поэта не забывали в Петербурге и как за его произведениями, так и за его жизнью существовал бдительный и не особенно дружелюбный надзор. Еще в конце 1820 г. Аракчеев обращал внимание государя не то, что «известного Пушкина стихи печатаются в журналах, с означением из Кавказа, видно, для того, чтобы известить об нем подобных его сотоварищей и друзей»[2]). В следующем году в доносе, поданном из Кишинева на вредный дух местных войск, упоминалось и имя Пушкина, и в том же году от Инзова затребованы были кн. Волконским для государя сведения о поведении Пушкина и участии его в кишиневской масонской ложе[3]). Пока поэт находился при Инзове, добродушный старик по мере возможности защищал его и отписывался, что «Пушкин ведет

---

1) Сочинения Пушкина, V, 10—11.

2) Богданович, История царствования имп. Александра I, т. VI. Приложения, с. 101.

3) Р. Старина, 1883, т. 40, № 12, сс. 654—7.

себя изрядно». Но дело изменилось, когда последний перебрался в 1823 г. в Одессу, под начальство нового наместника Новороссии, гр. Воронцова. Воронцов хотел видеть в поэте прежде всего маленького чиновника, обязанного к нему почтением, и забывал, или, вернее, не понимал, что он имеет дело с первоклассным литературным талантом, известным уже всей читающей России; к этому основному мотиву неудовольствий между Пушкиным и его начальником присоединились запутанные чисто личные отношения, печально окончившиеся для поэта. Взбешенный его язвительными эпиграммами и как бы желая до конца оправдать их, Воронцов не задумался написать министру иностранных дел, гр. Нессельроде, бумагу, в которой в виде участия к «молодому человеку, не лишенному дарований» просил выслать его из Одессы. «Главный недостаток Пушкина — мотивировал он свою просьбу — самолюбие. Здесь проживает множество людей, и количество их увеличивается во время сезона купаний. Они, будучи экзальтированными поклонниками его поэзии, думают ему выразить этим свою дружбу и оказывают услугу неприятеля, способствуя его самоувлечению и убеждая его, что он выдающийся писатель, между тем как Пушкин пока не более, как слабый подражатель не особенно похвального оригинала (лорда Байрона) и только путем труда и усидчивого изучения истинно великих классических поэтов могут принести плоды его счастливые дарования, в которых ему нельзя отказать, и

сделают его выдающимся писателем». Эта бумага, увековечившая за гр. Воронцовым славу столь же доблестного администратора, как и тонкого ценителя литературы, была получена в Петербурге в то самое время, когда государю доложено было о перехваченном полициею в Москве письме Пушкина к одному из приятелей, письме, в котором поэт сообщал, что берет «уроки чистого афеизма... система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная». Немедленно состоялось повеление исключить Пушкина из службы и «выслать его в принадлежащее родителям его поместье, в пределах Псковской губернии, под надзор местных властей». Получив извещение об этом повелении, гр. Воронцов позаботился кое-что добавить к нему и от себя и, находясь сам в то время в Симферополе, предписал одесскому градоначальнику Гурьеву—«если Пушкин даст подписку, что отправится к своему назначению, не останавливаясь нигде на пути к Пскову, то дозволить ему ехать одному, в противном же случае отправить с надежным чиновником». Пушкин дал требуемую подписку и, выехав из Одессы 30 июля 1824 г., 9 августа явился в Михайловское [1]).

Эта история тяжело отразилась на душевном настроении поэта. В послании к Языкову из Ми-

---

[1]) См. дело о высылке из Одессы в Псковскую губернию кол. секр. Пушкина — в «Ведомостях Одесского Градоначальства» за май 1899 г.

хайловского, помеченном 20 сентября 1824 года, он говорит о себе:

... злобно мной играет счастье;
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь;
Всегда гоним, теперь в изгнанье,
Влачу закованные дни...

(Сочинения Пушкина, I,308).

Здесь не было преувеличения. Заброшенный в глухую псковскую деревушку, лишенный почти всякого общества, за исключением ближайших соседей — Осиповых, отданный под двойной надзор гражданской и духовной власти, поэт, действительно, в своем Михайловском мог чувствовать себя, как в просторной тюрьме. Большинство его родных и приятелей боялось самой мысли о посещении опального поэта[1]) и лишь немногие молодые друзья изредка навещали его в его невольном уединении. Он много работал, но работа не могла заменить его живой, неугомонившейся еще натуре шума людской толпы и быстрой смены впечатлений городской жизни, еще не потерявших для него своей прелести. Жадно рвался он на волю и изыскивал всевозможные

---

[1]) Так, Пущин рассказывает, что и А. И. Тургенев, и дядя поэта В. Л. Пушкин, узнав, что он собирается в Михайловское, предостерегали его от этой поездки. Майков, назв. соч., с. 77.

способы освобождения. Он находил у себя аневризм и просил разрешения ехать лечиться за границу или в столицы. Ему разрешили лечиться во Пскове и Пушкину пришлось удовлетвориться благодарственным письмом на имя Жуковского, по своей убийственно-вежливой саркастичности стоющим десятка эпиграмм[1]). Почти одновременно обдумывал он план побега за границу и заранее уже в своих произведениях прощался с родиной, но и этот отчаянный план не пришлось выполнить[2]). В это то время тоски и томления написал Пушкин своего «А. Шенье». Позднее, уже в царствование имп. Николая, это произведение вызвало целое следствие и едва не навлекло новой беды на голову Пушкина. Благодаря найденному у штабс-капитана Алексеева отрывку из «Шенье», не пропущенному тогдашней цензурой, с надписью «по поводу 14 декабря 1825 г.», возникло обвинение против лиц, хранивших у себя это стихотворение, и против самого поэта «в распространении в неблагонамеренных людях пагубного духа». Нелепость обвинения, смешивавшего события французской революции с происшествием 14 декабря, Пушкину не трудно было доказать, но тем не менее дело восходило до Государственного Совета и окончилось для самого поэта выговором и отдачей под секретный надзор полиции, а для дру-

---

1) Сочинения Пушкина, VII, 135—6.

2) Там же, 97, 158—9, 164.

гих замешанных в него еще хуже [1]). Вряд ли можно, однако, сомневаться и в том, что в основу этой пьесы легло настроение, созданное не одними только воспоминаниями о французской революции и трагической судьбе погибшего в ней поэта. Самый интерес Пушкина к этой судьбе мог, если не появиться, то разростись на почве сознания известного родства, представляемого ею с переживаемым им самим положением, и едва ли не это именно вплетение личных мотивов в названную пьесу и придало ей ее необыкновенную задушевность. На то, что в «А. Шенье» можно усматривать не только отражение общих идей поэта, но и некоторое автобиографическое значение, указывают, повидимому, и слова самого Пушкина в письме к П. А. Вяземскому 13 июля 1825 г.: «читал ли ты моего А. Шенье в темнице? Суди о нем, как езуит, — по намерению»[2]). В самом деле, жалобы заключенного поэта и охватывающие его сомнения так хорошо подходят к положению самого Пушкина и к общему настроению его музы, которое оказалось в столь резком противоречии с обстоятельствами его жизни:

---

[1]) Р. Старина, 1871, т. IV, № 12, сс. 667—73; 1874 г., т. X, сс. 691—4, и XI, 581—5; 1882 г., т. XXXIII, 223—6 и 465—9; 1883 г., XXXVIII, 690—2; 1884 г., X II, 636. Записки Вигеля. М. 1865, ч. VII, сс. 54—5. Любопытно, что, благодаря раз'ездам Пушкина, полиция смогла сообщить ему состоявшееся 29 августа 1828 г. постановление Государственного Совета лишь в конце января 1831 года.

[2]) Сочинения Пушкина, VII, 137.

. . . Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни сень,
Свободу, и друзей, и сладостную лень?
Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба и корысть? Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня? Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишине,
На низком поприще с презренными бойцами?
Мне-ль было управлять строптивыми конями
И круто направлять бессильные бразды?

Та же личная нота могла звучать и в гордом утешении поэта, что он «не поник главой послушной перед позором наших лет». Некоторое подтверждение этому можно видеть в записках И. И. Пущина, посетившего Михайловское в январе 1825 г. и оставившего в своих воспоминаниях подробное и трогательное воспоминание этой поездки и свидания с другом. «Вообще — говорит он—Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя однакож ту же веселость». Вместе с тем однако поэт приписывал себе нечто более чисто литературного значения и предполагал, что в Петербурге опасаются его приезда. «На это — рассказывает Пущин — я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд-ли на него кто-нибудь смотрит с этой точки зрения, что вообще читаю-

щая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтобы скорее кончилось его изгнание». В общих взглядах свидевшихся после долгой разлуки друзей по прежнему было много сходного. Когда Пушкин узнал о перемене своим приятелем военной службы на судебную и о мотивах такой перемены «это было ему по сердцу, — вспоминает Пущин — он гордился мною и за меня». Свое одобрение шагу, сделанному бывшим его товарищем, Пушкин запечатлел через несколько месяцев после этого свидания и в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 19 октября 1825 г.[1]). Но и теперь, как и прежде, Пущин не считал возможным ни заходить в своей откровенности перед другом слишком далеко, ни, тем менее, втягивать его в политическое общество. Его простой и правдивый рассказ об этом заслуживает большого внимания. «Незаметно, — говорит он, сообщая о своей беседе с поэтом, — коснулись опять подозрений насчет общества. Пушкин сперва был очень

---

[1]) . . . . Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил.

В рукописи за этим следовала зачеркнутая потом строфа, оканчивающаяся словами:

Ты освятил тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан.

(Сочинения, I, 358).

взволнован ими. Потом, успокоившись, он продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, — по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть»[1]). В тот же день Пущин уехал из Михайловского и это свидание, последнее в жизни друзей, осталось вместе и последним соприкосновением Пушкина с тайным обществом. Менее, чем через год, после него:

, ... лоно волн
Измял с-налету ветер шумный.
Погиб и кормщик, и пловец.

С началом нового царствования началась и новая эпоха в жизни Пушкина. В результате просьбы, поданной им имп. Николаю, он был возвращен из ссылки и после беседы с ним император вызвался сам быть цензором его произведений. Бывший ссыльный поэт был затем приближен ко двору, получил звание историографа и придворный чин камер-юнкера, — последнее, впрочем, без сво-

---

[1]) Майков, назв. соч., сс. 79—81. И. Д. Якушкин в своих записках приводит почти такие же слова, сказанные Пушкиным уже в 1827 году А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему осужденному мужу, Никите Муравьеву (назв. соч., с. 70).

его желания и даже вопреки ему[1]). Вопрос о том, насколько в этом новом своем положении Пушкин сохранил прежние свои взгляды, и в частности те, которые связывали его с крайними либеральными кружками Александровской поры, покончившими свое гражданское существование 14 декабря 1825 года, неоднократно поднимался в литературе и получал очень различное решение. Мнения, высказанные по этому поводу, можно распределить на три разные группы. Некоторые писатели утверждали, что Пушкин в 1826 году совершил крутой поворот, перейдя в лагерь, прямо противоложный тому, в каком он находился раньше, причем одни из них относились к этому повороту с безусловной похвалою, другие же, напротив, — с осуждением, видя в нем результат угодливости поэта. По мнению других критиков, Пушкин и в Николаевскую эпоху сохранил гуманную и просвещенную основу своих убеждений, но вместе с тем в них произошел ряд очень крупных и

---

[1]) Кажется, однако Пушкин был недоволен в данном случае не придворным званием вообще, а именно камер-юнкерством. После его смерти П. А. Вяземский писал вел. кн. Михаилу Павловичу, оправдывая погребение поэта не в мундире, а в сюртуке, что он не любил своего мундира: «При всей моей дружбе с ним я не стану скрывать, что он был человек светский и суетный (vain et mondain)... Камергерский ключ был бы для него дорогим знаком отличия; но ему казалось неприличным, что в его лета, посреди его поприща сделали его камер-юнкером, словно какого то юношу и новичка в общественном кругу». Р. Архив, 1879, № 3, с. 390. Этому, по крайней мере, не противоречат и отзывы самого Пушкина в его письмах и дневнике.

существенных изменений, в конце концов далеко отведших поэта от тех людей, с которыми он некогда стоял рядом в качестве единомышленника. Существует, наконец, и такое мнение, — наименее однако распространенное, — согласно которому Пушкин и в последний период своей жизни не испытал никакой существенной перемены в своих убеждениях, а являлся «выразителем и носителем общественных идей 20-х годов». [1]) Спор представителей этих мнений остается незаконченным и по настоящее время, но мы не намерены здесь разбирать отдельные соображения, которыми поддерживается и защищается тот или другой взгляд. Дальнейшее изложение, в котором мы попытаемся собрать главнейшие материалы для решения спорного вопроса, само покажет, к какому из указанных ближе всего подходит принимаемый нами.

Приступая к этому изложению, мы прежде всего должны напомнить то обстоятельство, на котором мы уже неоднократно настаивали, — что между Пушкиным и т. наз. декабристами, при всей их

---

[1]) Последнее мнение принадлежит В. Е. Якушкину (О Пушкине, М. 1899, сс. 50—5 и 67—8). Можно пожалеть, что г. Якушкин, перепечатав в этом сборнике статью «Радищев и Пушкин» 1886 г., с некоторыми лишь мелкими дополнениями, не потрудился посчитаться с солидными работами А. Н. Пыпина, А. М. Скабичевского и В. Д. Спасовича. В недавнее время этот вопрос был подвергнут новому пересмотру проф. Сакулиным в его работе «Пушкин и Радищев» (М. 1920). Автор этой интересной работы решительно настаивает на серьезном изменении взглядов Пушкина в эту эпоху его жизни, — притом на изменении, происшедшем в силу не внешних, а внутренних причин.

близости в общих взглядах, никогда не было совершенно полной и безусловной связи, что в их отношениях всегда существовала известная грань. В свое время сознание этой грани было живо у обеих сторон и лишь постепенно оно несколько стерлось и затуманилось. Не даром Пушкин и в черновике своего «Ариона» заменил было первое лицо третьим:

Их было много на челне[1]).

Примыкая в начале 20-х годов по своим убеждениям и симпатиям к тому общественному движению, наиболее яркими представителями которого явились декабристы, Пушкин, однако, не был близко знаком с их главными руководителями, не был вполне посвящен ни в их замыслы, ни в их практические планы и по некоторым вопросам сохранял даже взгляды, плохо мирившиеся с принятыми в этом кругу. По отношению к последнему поэт являлся скорее человеком, ему сочувствующим, нежели равноправным его участником, более сам подчинялся воздействию его взглядов, чем влиял на окружавшее его общество в смысле этих взглядов. Благодарная память об этих отношениях и теплое чувство к людям, в них участвовавших, не покидали тем не менее поэта и после крушения надежд и мечтаний его бывших друзей, превратившихся в судимых, а затем осужденных преступников.

---

[1]) В. Е. Якушкин.

Происшествие 14-го декабря и его последствия глубоко взволновали и потрясли Пушкина. Запертый в своем Михайловском, он осыпает петербургских приятелей письмами, требуя известий о ходе процесса, об участи того или другого из своих знакомых: «неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит», пишет он. Он не спешит последовать советам друзей и, пользуясь переменой царствующего лица, ходатайствовать о смягчении своей личной судьбы, так как ему «не до себя», да и «просить как-то совестно, особенно ныне». По отношению к подсудимым он твердо надеется на снисхождение правительства. «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародования приговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя», — пишет он в январе 1826 г. и через несколько месяцев повторяет: «сердце не на месте, но крепко надеюсь на милость царскую. Меры правительства доказали его решимость и могущество. Большего подтверждения, кажется, не нужно» [1]). Когда, лишь 24-го июля 1826 г., дошла до него весть о приговоре и о совершившейся 13-го июля казни Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского и Бестужева, он заносит это известие в свои тетради . . . [2]) Но надежда на смягчение участи остальных осужденных все еще не покидает его. «Еще таки — пишет он П. А. Вяземскому — я все

---

[1]) Сочинения Пушкина, VII, 172; 172 и 174; 174; 182.
[2]) Там-же, II, 2.

надеюсь на коронацию. Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». Неверный слух, дошедший до него в это время, будто Н. Тургенев, находившийся за границей и также обвиняемый за участие в тайном обществе, привезен морем в Петербург, заставляет глубоко взволнованное чувство поэта, в том же письме к Вяземскому, вылиться в стихах:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец?
Не славь его! В наш гнусный век
Седой Нептун — земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник[1]).

В промежуток времени до об'явления приговора над декабристами Пушкин подал государю свое прошение о разрешении выехать в столицы или за границу, заявляя твердое намерение «не противоречить моими мнениями общепринятому порядку»[2]). Теперь, когда Вяземский нашел это письмо «холодным и сухим», он отвечает: «иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у ме-

[1]) Там же, VII, 184. Г. Чириков в своих «Заметках на новое издание сочинений Пушкина» (Р. Архив, 1881, I, с. 178) приводит еще резкую эпиграмму Пушкина на кн. Голицына по поводу действій его в верховном уголовном суде.

[2]) Сочинения. VII, 177.

ня перо не повернулось бы»[1]). И, когда уже судьба участников тайных обществ выяснилась окончательно, Пушкин все еще не терял надежды на изменение ее к лучшему. В 1830 г. он писал Вяземскому, выражая одобрение внешней политике России: «Каков государь? Молодец! Того и гляди, что и наших каторжников простит. Дай Бог ему здоровье . . .» Еще позже, за год с небольшим до своей смерти, он сообщал П. А. Осиповой о последовавшем смягчении участи некоторых декабристов, в том числе Кюхельбекера, переведенного в южную часть Сибири, и выражал надежду, не осуществившуюся, впрочем, что последнему будет разрешено вернуться в Россию и поселиться в имении своей сестры, г-жи Глинки[2]).

Но одним лишь сожалением не ограничивалась память Пушкина о людях, с которыми его связывали некогда узы дружбы и приятельства. С некоторыми из них он поддерживал, по мере возмож-

---

1) Там же, VII, 185.

2) Сочинения Пушкина, VII, 244, 390. По смерти Кюхельбекера в 1846 г., сестре его, Ю. К. Глинке, разрешено было взять на воспитание двух его детей, но с тем, чтобы они назывались не по фамилии отца, а Васильевыми. А. И. Дмитриев-Мамонов. Декабристы в Западной Сибири. М. 1895, с. 184. Греч неправильно говорит в своих записках, будто Кюхельбекер был возвращен из Сибири и жил в имении своей сестры, где и умер (Записки о моей жизни, с. 382). Упоминаем об этом потому, что неверное сообщение Греча повторено и в таком распространенном издании, как Энц. Словарь Брокгауза и Ефрона (XVII, 169) . В действительности Кюхельбекер умер 11 авг. 1846 г. в Тобольске, где и похоронен. См. Дмитриев-Мамонов, назв. соч., с. 181.

ности, и прямые сношения. Кюхельбекера, лицейского своего товарища, он случайно встретил в 1827 году уже арестантом на почтовой станции около Боровичей. «Мы — так записал он эту встречу в своих бумагах — пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в об'ятия. Жандармы нас растащили. Фельд'егерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно, жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали»[1]). Кюхельбекера перевозили тогда из Шлиссельбургской крепости, где он первоначально содержался, в Динабургскую. Из этого последнего места заключения он писал Пушкину и сам, быть может, получал от него здесь письма. Пушкин принимал участие в издании его «Ижорского», хотя о поэтическом таланте своего бывшего товарища и держался невысокого мнения, посылал ему книги и вообще оказывал заключенному другу посильные услуги. В письме из Баргузина от 12-го февраля 1836 г. Кюхельбекер, благодаря поэта за память и присылку «время от времени» книг, прибавлял: «мой долг прежде всех лицейских товарищей вспомнить о тебе в минуту, когда считаю себя свободным писать к вам; долг, потому что и ты же более всех прочих помнил о вашем затворнике . . . Мне особенно приятно было, что ты, поэт, более

---

[1]) Сочинения, V, 51 и здесь же, с. 52, рапорт сопровождавшего Кюхельбекера фальд'егеря об этой встрече.

наших прозаиков заботишься обо мне: это служило мне вместо явного опровержения всего того, что господа люди хладнокровные и рассудительные обыкновенно взводят на грешных служителей стиха и рифмы. У них поэт и человек не дельный одно и то же; а вот же Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все они вместе»[1]). Другой, и более близкий товарищ Пушкина по лицею был встречен приветствием поэта уже в далекой Сибири. Через А. Г. Муравьеву, отправлявшуюся к мужу, Пушкин послал И. И. Пущину свое стихотворение, в котором вспоминал его приезд в Михайловское и выражал пожелание,

Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучем лицейских ясных дней.

В самый день приезда Пущина из Шлиссельбурга в Читу, 5-го января 1828 г., Муравьева вызвала его к частоколу острога и передала ему листок бумаги с этим стихотворением. «Увы, — вспоминает Пущин — я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла

---

1) Р. Архив, 1881, I, 137—9, 141. В письме 1836 г. Кюхельбекер говорит, что он 12 лет не писал Пушкину, но два его письма из Динабурга (10 июля 1828 г. и 20 октября 1830 г.) напечатаны тут же. Может быть, он не считает возможным говорить об этой переписке, как о тайной.

мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, быть может, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось»[1]). И в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 19-го октября 1827 г., Пушкин призывает счастье к своим друзьям в разных положениях, между прочим:

И в мрачных пропастях земли[2]).

В творчестве Пушкина были, наконец, и более общие, относившиеся не только к лицейским товарищам, отклики на несчастье декабристов, могущие служить лишним доказательством той же благородной памяти сердца. Об одном из них «Арионе» мы уже упоминали; — другой — «Послание в Сибирь», написанное в том же 1827 году:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда, в мрачном подземелье
Пробудит бодрость и веселье.
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас

---

[1]) Майков, назв. соч., с. 84.

[2]) Сочинения Пушкина, II, 23. И это стихотворение попало в Сибирь: И. И. Пущину переслал его директор лицея Е. А. Энгельгардт, находившийся с ним в переписке. Майков, назв. соч., с. 85.

Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас;
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам подадут.

Послание это дошло до назначения и вызвало известный ответ кн. Одоевского:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли!
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями [1]).

При всем сходстве тем этих двух пьес различие их настроений, быть может, не вполне сознававшееся самими их авторами, не трудно подметить постороннему слушателю: «терпенье» и «надежда» одной слишком определенно заменяются «гордостью» и «смехом» в другой. Такое различие

---

[1]) Сочинения, II, 11 и Р. Архив, 1881, I, 200—201. Несколько рассказов об отношении Пушкина к декабристам после их ссылки сохранено еще в пресловутых Записках А. О. Смирновой (часть I, СПБ. 1895, сс. 74—5, 94, 176), но в этих рассказах действительность явно перемешана с вымыслом. Мы не касаемся их здесь, так как достоверные их подробности не дают ничего нового, а разбор их в целом виде потребовал бы много места.

едва-ли было случайным. Мы только что видели, что Пушкин долго и упорно хранил сочувственную и благодарную память о личности тех людей, с которыми он был связан в годы юности. Но, если поставить вопрос иначе, если говорить о том, насколько сохранял Пушкин в последний период своей жизни общественные идеи этих людей, ответ должен будет значительно изменить свой характер. Несомненно, общее гуманное направление, развитое сознание личного достоинства, признание общественного блага целью всякой власти, все эти воззрения, выработанные Пушкиным при деятельном участии той среды, где «уважение к человеку вообще» ставилось руководящим принципом, навсегда остались его принадлежностью, как человека и писателя. Но на этом общем фоне с течением времени выделились и такие взгляды на конкретные вопросы русской жизни, которые значительно от него отличались. И если не слишком тесная связь поэта с кружками начала 20-х годов не помешала ему сохранить теплое чувство по отношению к личностям, входившим в их состав, то, быть может, именно недостаточная прочность этой связи не давала ему возможности всегда верно оценить, где начинается решительное уклонение от основных идей этих кружков. Мы упоминали, впрочем, выше, что в литературе высказано было и мнение, отрицающее какие-либо существенные изменения во взглядах Пушкина на Николаевскую эпоху. Согласиться с ним однако же довольно трудно. По крайней мере г. Якушкин,

выставивший такое положение, сам должен был снабдить его оговорками, настолько серьезными, что они способны опрокинуть сопровождаемое ими утверждение. По его словам, вся перемена в Пушкине этой поры сводилась к усвоению им оппортунизма; разочаровавшись в возможности иных путей, поэт стремился теперь итти вместе с правительством и через его посредство содействовать просвещению. «В оппортунизме весь смысл деятельности Пушкина при Николае. Общие его идеи те же, но взгляд на средства для их проведения другой»[1]). Но ведь деятели 20-х годов как раз менее всего обнаруживали пристрастия к оппортунизму, и их общественные идеи, с какой бы точки зрения ни оценивать их, так же мало могли быть замкнуты в эту форму, как и сведены к одному лишь «просвещению». В действительности же изменения в миросозерцании поэта за эту эпоху его жизни едва-ли могут быть покрыты формулой, предложенной г. Якушкиным. Причин, вызвавших такие изменения, было не мало, и они коренились не в одном лишь характере поэта.

События, сопровождавшие вступление имп. Николая Павловича на престол, оказали глубокое, подавляющее влияние на весь характер русской общественной жизни последующего периода. Жизнь эта разом потускнела, приобрела более серую будничную окраску, улеглась в более скромные и тесные рамки. Героиня «Русских женщин»

---

[1]) Назв. соч., сс. 51, 54, 56.

у Некрасова говорит про светское общество этой поры:

Где были дубы до небес,
Там нынче пни торчат.

И это же самое можно было бы с некоторым правом сказать не про один лишь светский круг. Из жизни общества была бесповоротно вычеркнута целая группа людей, представлявших собой определенное общественное движение, и во всяком случае, как бы ни оценивать их действия, выделявшихся из среды своих современников высотою своего нравственного уровня и богатством умственных сил. С их гибелью и то идейное течение, выразителями которого они явились, исчезло с поверхности общественной жизни. Уцелевшие единомышленники их не чувствовали более под собой почвы и, разрозненные, разобщенные, отказывались от всякой более широкой деятельности, в угрюмом молчании замыкаясь в более или менее добровольном уединении. Большинство же общества боязливо отшатнулось от идей, повлекших за собою столь роковое крушение, поторопилось подладиться под твердый и недвусмысленный тон нового порядка и таким образом в старшем поколении эти идеи скоро стали достоянием и традицией лишь немногих единичных личностей. В эту то разреженную среду, с ее побледневшими красками и пониженным пульсом жизни вошел Пушкин после своего возвращения из ссылки. Он не нашел уже в ней тех прежних друзей, которые, бе-

режно сдерживая чрезмерные порывы его горячей натуры, вместе с тем «высоким стремленьем дум» помогали ему создавать большие требования к жизни. Теперь его окружили лишь прежние приятели по Арзамасу, легко примирившиеся с происшедшей переменой, свободно дышавшие в установившихся условиях жизни и находившие безумием всякий сколько-нибудь решительный протест против них. Эта новая обстановка не могла не оказать своего воздействия на впечатлительного поэта.

К ее влиянию присоединилось еще одно обстоятельство. В оппозиционное настроение Пушкина, начиная с 1820 г., заметною струею входил и личный элемент. Теперь он исчез или, по крайней мере, так казалось поэту на первых порах. Еще недавно гонимый и обреченный на ссылку, он был возвращен, обласкан императором, принят под его непосредственное покровительство, — и ликующие звуки «Стансов» 1826 г. смутили даже друзей поэта, не без основания находивших сравнение Николая I с Петром В. преждевременным, а погибших единомышленников поэта с «буйными стрельцами», — по крайней мере, неуместным. Обвинения в угодливости и лести дошли до самого Пушкина, и он предпринял свое оправдание в новом стихотворении — «Друзьям». Оправдание, нужно признаться, вышло туманным и сбивчивым.

Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами, —

говорит поэт в доказательство своего права на высокие хвалы новому правителю государства. Современники, однако, могли бы не без успеха возразить на это, что они еще пока не видят признаков такого оживления, и сам Пушкин едва-ли бы смог указать их с большею точностью. Один только мотив звучал в данной пьесе с полною определенностью и яркостью, и этот мотив — чисто личный:

Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Подал — и с вами снова я!
Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я-ль, в сердечном умиленье
Ему хвалы не воспою?

Хотя этот мотив и уступал в своей силе влиянию общественной обстановки, он все же надолго, если не навсегда сохранил свою власть над Пушкиным, в свою очередь оказывая известное воздействие на его взгляды, прокладывая дорогу для компромиссов и побуждая его примириться с существующим порядком.

Это примирение в известной степени сказалось уже и в том, что некоторые струны на Пушкинской лире за последние годы его жизни значительно ослабели, а то и совсем замерли. После 1828 года, когда был написан «Анчар», навлекший на поэта выговор, гражданские мотивы прорываются в по-

эзии Пушкина очень редко, и то лишь в тех случаях, когда они вполне гармонируют с господствующим настроением. Вообще же поэт в эти годы совершенно почти уходит в область чисто художественного творчества, чуждого страстного суб'ективного отношения к скорбям и злобе настоящей минуты.

Определенная попытка к примирению сделана была Пушкиным, впрочем, не по собственному почину, уже в 1826 году. Вскоре после возвращения поэта из ссылки, гр. Бенкендорф передал ему поручение государя «заняться предметами о воспитании юношества». «Предмет сей — прибавлял Бенкендорф—должен представить вам тем обширнейший круг, что вы на опыте видели все пагубные последствия ложной системы воспитания». На это письмо, заключавшее в себе столь недвусмысленный намек, Пушкин сперва ничего не отвечал. Лишь, когда поручение было повторено, он принялся за работу и затем представил свою «Записку о народном воспитании». В ней он постарался провести, по крайней мере, некоторые из дорогих ему взглядов: он отстаивал пользу и необходимость просвещения, доказывал возможность преподавать историю без искажения характера событий, восставал против телесных наказаний в школах. Но наряду с этими светлыми взглядами он принес и жертвы новому своему положению, порою безусловно сознательные. Он предлагал «увлечь все юношество в учебные заведения, подчиненные надзору правительства», и «во что бы

то ни стало, подавить воспитание частное»; запрещать заграничное воспитание он не советовал, потому что «довольно будет опутать его одними невыгодами, сопряженными с воспитанием домашним». Далее, по его плану, для кадетских корпусов «нужна полиция, составленная из лучших воспитанников». «Должно обратить серьезное внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание, за возмутительную — исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе». Не менее, пожалуй, неожиданным со стороны бывшего деятельного участника лицейских журналов заявлением было решительное осуждение того, что «во всех почти училищах дети занимаются литературою, составляют общества, даже печатают свои сочинения в светских журналах» [1]).

---

[1]) Сочинения Пушкина, V, 43—7. Уже a priori трудно было бы думать, что Пушкин был вполне искренен в этой записке, но у нас есть и прямое доказательство противного. А. Н. Вульф занес в свой дневник под 16 сент. 1827 г. бывший у него накануне разговор с поэтом в Михайловском. «Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: — я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову», Майков, назв. соч., сс. 177—8. Головомойка, действительно, была дана Пушкину. «Его величество — писал ему Бенкендорф, передавая благодарность за «Записку», — при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просве-

Перемена общественного настроения, условия личного положения, наконец, сознательные уступки духу времени ради сохранения возможности высказывать хотя часть своих воззрений, — все эти обстоятельства частью усилили в общественных взглядах Пушкина стороны, и раньше в них бывшие, но не особенно выдававшиеся, частью внесли в них новые черты. Дворянские предрассудки, ранее свойственные Пушкину в форме родословной гордости перед новою знатью, в последние годы его жизни усилились и приняли менее невинный вид. Пушкин, еще в начале 20-х годов так враждебно относившийся к аристократическим притязаниям и к феодализму, выражал теперь сожаление об уничтожении боярских прав и унижении старых родов. В связи с этим ослабляется и прежнее благоговейное отношение поэта к Петру В.: в «Медном Всаднике», по свидетельству П. П. Вяземского, в уста героя был вложен энергический монолог против европейской цивилизации, к сожалению, не со-

---

щение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание». Сочинения Пушкина, V, 47 и М. И. Сухомлинов, Исследования и статьи. СПБ., 1889, т. 2, сс. 235—9. Нужно еще заметить, что о «гении» Пушкин ни слова не говорил в своей «Записке», так что это была стрела, специально направленная на него Бенкендорфом.

хранившийся до нашего времени, или, по крайней мере, до сих пор не отысканный. Изменилось отношение Пушкина и к «Истории» Карамзина, слабые стороны которой он прежде умел отметить и оценить. В 1826 г. «История Государства Российского» в его глазах не просто даже хорошая книга, а «подвиг честного человека». С некоторым презрением говорит он в это время о том, что Н. Муравьев письменно разобрал только предисловие Карамзина, хотя, по справедливому замечанию г. Пыпина, для рассмотрения общих тенденций Карамзина, как историка, что собственно и интересовало Муравьева, совершенно достаточно было разобрать предисловие историографа [1]). Охрана имени и славы Карамзина от всяческих нападений заводила подчас Пушкина в это время очень далеко. Его приятель, кн. П. А. Вяземский, с его согласия и одобрения подал министру народного просвещения Уварову письмо о разнузданности цензуры, которая пропускает в печати излишне свободные мысли и в частности критику на «творения Карамзина, эту единственную в России книгу, истинно государственную и народную, и монархическую, и через то самое поощряет черную шайку разрушителей или ломщиков, которые только того и добиваются, чтобы можно было

---

[1]) Соч. Пушкина, IV, 356; V, 82; V, 41. Пыпин. Общественное движение в России при Александре I, изд. 2-е, СПБ. 1885, с. 417.

провозгласить: «у нас нет истории». В качестве этой «черной шайки ломщиков» донесение указывало журналы «Телеграф и Телескоп» и Устрялова, который, надо думать, и не подозревал, в каких ужасных преступлениях он участвовал[1]). Известно, что издателя «Телеграфа», Полевого, Пушкин вообще сильно не долюбливал. Эта нелюбовь подчас проявлялась, не без влияния литературных друзей поэта, в формах, едва-ли его достойных. Когда в 1834 г. «Телеграф» подвергся запрещению, Пушкин записывает в своем дневнике: «Жуковский говорит: «Я рад, что «Телеграф» запрещен, хотя жалею, что запретили». «Телеграф» достоин был — продолжает Пушкин уже от себя — участи своей. Мудрено с большею наглостью проповедывать якобинизм перед носом правительства; но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска»[2]). Это смешение якобинизма с либерализмом, странное причисление Полевого к якобинцам в связи с не

---

[1]) Собрание соч. кн. Вяземского, т. II, сс. 211—26. Лишь на одно место этого донесения Пушкин заметил: «не лишнее-ли?». Это замечание было вызвано следующей фразой: «и самое 14 декабря не было ли впоследствии времени, так сказать, критика вооруженною рукой на мнение, исповедываемое Карамзиным, то-есть «Историею Государства Российского», хотя, конечно, участвовавшие в нем тогда не думали ни о Карамзине, ни о труде его».

[2]) Соч. Пушкина, V, 204. О закрытии «Телеграфа» см. у М. И. Сухомлинова: Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, СПБ. 1889, т. II, сс. 365—432.

менее, пожалуй, странным уверением, будто издатель «Телеграфа» был баловнем полиции, дико звучит в устах Пушкина. В освещении этого конкретного примера может выясниться и настоящее значение предпринимавшейся порою Пушкиным защиты цензуры. «Писатели — говорит он в недоконченной и не увидавшей при нем света статье, возражая против нападок Радищева на цензуру, — во всех странах мира суть класс самый малочисленный изо всего народонаселения... Очевидно, что аристократия самая мощная, самая опасная есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли, никакая власть, никакое правление не может устоять противо всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно... Действие человека мгновенно и одно (isolé); действие книги множественно и повсеместно. Законы противо злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона, не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое»[1]).

---

[1]) Соч. Пушкина, V, 237.

Питая столь преувеличенные опасения по поводу литературы и, в частности, литературы русской[1]), находившейся тогда в самом жалком и приниженном положении, как бы признавая необходимость бюрократической опеки над мыслью писателя и отрекаясь от защиты свободы этой мысли, Пушкин в 30-х годах ушел в сторону консерватизма и в другом важном вопросе русской общественной жизни. Его некогда напряженный и страстный интерес к вопросу об освобождении крестьян ослабел за эти годы и ему случалось даже обмолвливаться в этом вопросе аргументами, которые могли быть обращены в пользу существующего порядка. «Судьба крестьян — писал он в 1834 г. в неоконченной статье своей, названной в изданиях его сочинений «Мысли на дороге», — улучшается со дня на день, по мере распространения просвещения. Избави меня Боже быть поборником и проповедником рабства; я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользою помещиков». Вся разработка истории крестьянства в

---

[1]) Для характеристики отношения Пушкина к вопросу свободы русской литературы небезынтересен также следующий рассказ его, переданный П. П. Вяземским: «В прошлом году (1835) я говорил государю на бале, что царствование его будет ознаменовано свободою печати, что я в этом не сомневаюсь. Император рассмеялся и отвечал, что он моего убеждения не разделяет. Для меня сомнения нет — продолжал Пушкин, — но также нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будут полное собрание стихотворений Баркова». Р. Архив, 1884, № 4, с. 428.

XIX веке, до сих пор произведенная, как нельзя очевиднее опровергла оба эти положения, несостоятельность которых была, впрочем, ясна и в свое время для людей, не желавших закрывать глаза на жизнь. «Злоупотребления встречаются везде — продолжает Пушкин. — Конечно, должны произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...» В другом месте той же статьи, доказывая необходимость рекрутских наборов, он прибавляет: «власть помещиков в том виде, как она существует, необходима для рекрутского набора»[1]). Этот сравнительно благодушный оптимизм, готовый признать «довольно деятельным» время, в котором ничего не делалось для решения крестьянского вопроса, возложить всю надежду в деле освобождения на улучшение нравов и до поры, до времени почти помириться с необходимостью крепостного права, был мало похож на те горячие призывы решить крестьянское дело, с какими обращался к власти юный Пушкин.

Последние цитаты взяты нами из статьи, посвященной Радищеву. Еще в 1823 г. Пушкин находил молчание русской литературы о Ради-

---

[1]) Соч. Пушкина, V, 240, 231.

щеве «непростительным». В 30-х годах он дважды пытался нарушить это молчание. В 1833-4 гг. он писал большую статью, содержащую изложение «Путешествия из Петербурга в Москву» и собственные его размышления на затронутые Радищевым темы, но не окончил этой статьи, не надеясь, вероятно, на благополучное прохождение ее через цензуру. В 1836 г. он написал для своего «Современника» новую статью: «Александр Радищев», но тогдашняя цензура ее не пропустила. В обеих этих статьях воспоминание о смелом писателе Екатерининского века вышло, однако, не таким, каким оно было бы, вероятно, у Пушкина ранее. Многие из тех возражений, какие Пушкин противопоставляет Радищеву, из тех оговорок, какими он сопровождает мысли последнего, наконец, из тех эпитетов, которые придаются здесь самому Радищеву, несомненно должны быть об'яснены цензурными соображениями автора. Вряд ли однако такое об'яснение может быть приложено ко всем им. Некоторые оговорки во всяком случае были настолько сильны, — если не по существу, то по выражениям, — били так далеко, что ценою их, пожалуй, и не стоило покупать сообщение русским читателям нескольких сведений о Радищеве. Примеры оговорок из первой статьи мы уже приводили. Во второй отсутствовало изложение «Путешествия», замененное общим отзывом о Радищеве и его книге. «Он — говорится здесь — есть истинный представитель полупросвеще-

ния. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные, поверхностные сведения, наобум принаровленные ко всему, — вот что мы видим в Радищеве. Отымите у него честность, — в остатке будет Полевой»[1]). Выше мы видели, как относился к Полевому Пушкин в интимных записях, делаемых исключительно для себя. Если все это лишь оговорки, сделанные по посторонним соображениям, то читателю довольно трудно было бы определить истинное мнение Пушкина. Один из критиков, г. Якушкин, решительно настаивает на том, что все эти оговорки в устах Пушкина были иносказаниями и эзоповским языком, и для большей убедительности сравнивает статьи Пушкина с показаниями самого Радищева об его книге[2]). Сравнение не доказывает, но оно часто уясняет и потому мы позволим себе развить сравнение г. Якушкина несколько дальше. Радищев писал свои показания в тюрьме, для Шешковского, Пушкин свои статьи — в журнале, для публики. Настаивать на серьезном значении этого различия едва-ли приходится. Самая возможность подобного сравнения всего лучше доказывает, что Пушкин в своих статьях перешел меру возможных оговорок, а это в свою очередь об'ясняется некоторым изменением в его взгля-

---

[1]) Там же 355.

[2]) В. Е. Якушкин. О Пушкине. М. 1899, с. 37.

дах и выработавшейся наклонностью к компромиссам.

Мы не пишем здесь общей характеристики поэта и не имеем поэтому нужды указывать другие стороны его воззрений, составлявшие известный противовес только что упомянутым. Достаточно сказать, что последние не сложились в какую-либо прочную и стройную систему, дававшую поэту право на место среди отечественных консерваторов, что они скорее представляли собою ряд колебаний и уступок, лишенных строгой последовательности и подчас встречавших себе противоречие во мнениях самого же Пушкина. Во всяком случае из сказанного видно, что считать Пушкина в Николаевскую эпоху выразителем общественных идей 20-х годов было бы неправильно. И в предшествовавшую эпоху к Пушкину было бы не вполне приложимо подобное определение, а еще менее возможным стало оно в 30-х годах, когда сам Пушкин не мало изменился. Для современников, как и для потомства, Пушкин был важен прежде всего великим художественным значением своей поэзии, всегда сохранявшей высокий и благородный характер. Общие идеалы поэта, в ней выражавшиеся и тесно связанные с той общественной средой, какая окружала его юность, несомненно, оказывали воспитательное влияние на дальнейшие поколения. Но нельзя было бы сказать, что чисто-публицистические воззрения поэта, осо-

бенно выражавшиеся в 30 годах, составляли передаточное звено между общественным движением 20-х и 40-х годов: для этого они были слишком сложны и неопределенны и в них вкрались слишком заметные уступки духу времени.

Нельзя, как известно, сказать и того, чтобы эти уступки сильно улучшили положение самого поэта и много облегчили ему выполнение его жизненных задач. Для окружавшей его современности они оказывались слишком малыми, и Пушкин оставался человеком подозрительным. Он и сам понял это, хотя не сразу. Его произведения проходили через строгую цензуру и не всегда появлялись в свет, когда он того желал, а иногда и вовсе не появлялись. Просьба его о разрешении ему газеты была отклонена и лишь незадолго до его смерти он получил разрешение издавать журнал, но и в последнем те статьи, в которых он пытался проводить особенно дорогие ему взгляды, при всех оговорках и смягчениях, какими они сопровождались, обыкновенно задерживались. Сам Пушкин, как мы уже упоминали, с 1828 года находился под секретным полицейским надзором и сверх того был поставлен в необходимость беспрестанных сношений с шефом жандармов гр. Бенкендорфом, который постоянно давал чувствовать поэту его зависимость, делая ему, в наружно вежливой форме, обидные по существу замечания не только по поводу его литературных произведений или поездок без осо-

бого на то разрешения по России, но даже по поводу его женитьбы. Приближенность к государю не избавляла Пушкина от контроля над его перепиской, и этот контроль простирался даже на письма к жене. Томимый двусмысленной, противоречивой обстановкой своей жизни, Пушкин не раз помышлял бросить и придворную службу, и Петербург, но в таких случаях друзья упрекали его в неблагодарности, задевая такими упреками за одну из самых чувствительных его струн. «Это хуже либерализма», говорил он и оставался, не расставаясь однако совсем с мыслью об от'езде в деревню, постепенно ставшей его любимой мечтой.

На свете счастья нет, а есть покой и воля, — грустно жалуется в 1836 г. когда-то столь жизнерадостный поэт.

Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

В этом виде побег от тяготившей его жизни не удался поэту. Он совершился иначе. Стоит лишь внимательно прочитать переписку Пушкина за последние годы его жизни, чтобы видеть, как шаг за шагом развивалась роковая драма, завершившаяся трагической кончиной поэта. Случайного в этой драме было мало и чисто личный элемент далеко не преобладал в ней. Поэт, ушедший в безоблачную высь чистого художе-

ственного творчества, писатель, пытавшийся примирить свои взгляды с современною ему жизнью путем ряда уступок и компромиссов, великий художник оставался все-таки человеком слишком беспокойного ума и слишком горячего сердца для своего «жестокого века». И он ушел, но не в обитель трудов, а в тесный приют могилы, ушел, еще полный творческой силы и великих возможностей.

ВАТАГА
и
ПЛАМЯ

ИЗДАНИЕ
„ВАТАГА“ и „ПЛАМЯ“
БЕРЛИН ПРАГА
Kurfürstenstr. 124 Ječna, 32